

АНДРЕЙ
ВОРОНОВ - ОРЕНБУРГСКИЙ

Волжский
роман



Пиковая Дама –
Червонный Валет

Волжский роман

Андрей Воронов-Оренбургский
Пиковая Дама – Червонный Валет

«ВЕЧЕ»

2021

Воронов-Оренбургский А. Л.

Пиковая Дама – Червонный Валет / А. Л. Воронов-Оренбургский — «ВЕЧЕ», 2021 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-8720-0

Вторая половина XIX века. Поволжье. Золотая эпоха русского купечества. Дикie деньги, дикie нравы, дикie страсти. В центре событий история неординарной личности, блестящего актера Саратовского театра Алексея Кречетова. Еще в театральном пансионате его опекуном становится известный денежный воротила, купец Злакоманов. Перед талантливым юношей открываются блестящие перспективы для продолжения карьеры. Влюбившись в «даму полусвета» Марьюшку по прозвищу Пиковая Дама, Алексей неожиданно для себя оказывается вовлечённым в преступные аферы. Мир картёжников и убийц внезапно заступает дорогу его призванию. Всё летит под откос!.. Найдёт ли Алексей выход? Сможет ли он выпутаться из паутины роковых обстоятельств? Будут ли наказаны жестокие убийцы купца Злакоманова? И чем закончится опасная любовная связь с чертовски обольстительной Марьюшкой? Обо всем этом читайте в романтическом воровском романе в духе непревзойдённого знатока криминального мира старой Москвы В.А. Гиляровского.

ISBN 978-5-4484-8720-0

© Воронов-Оренбургский А. Л., 2021

© ВЕЧЕ, 2021

Содержание

Часть 1. «Течет река Волга...»	6
Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	14
Глава 4	17
Глава 5	21
Глава 6	27
Глава 7	30
Часть 2. «Потешка»	34
Глава 1	34
Глава 2	39
Глава 3	43
Глава 4	47
Глава 5	52
Глава 6	57
Глава 7	64
Глава 8	68
Часть 3. Гусарская рулетка	75
Глава 1	75
Глава 2	79
Глава 3	84
Глава 4	90
Глава 5	95
Глава 6	100
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Андрей Леонардович Воронов- Оренбургский Пиковая Дама – Червонный Валет

*Помните, что Отечество земное
с его Церковью есть преддверие
Отечества Небесного,
потому любите его горячо и будьте готовы
душу свою за него положить...
Господь вверил нам русским
великий спасительный талант
Православной веры...
Восстань же русский человек!
Перестань безумствовать! Довольно!
Довольно пить горькую,
полную яда чашу – и вам, и России.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский*

© Воронов-Оренбургский А.Л., 2021

© ООО «Издательство «Вече», 2021

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

Сайт издательства www.veche.ru

Часть 1. «Течет река Волга...»

Глава 1

Мещанское гнездо Кречетовых находилось в двадцати минутах ходьбы от старого Троицкого собора¹. В то время центр губернского города значился именно там. Впрочем, золото православных крестов и куполов радовало глаз коренного жителя и заезжего варяга с любой стороны: тут тебе и Преображение Господне на горах за Глебучевым буераком, что на берегу Волги, далее храм Казанской Божьей Матери, где ежегодно в мае гремела ярмарка с продажей фаянсовой и хрустальной посуды, а равно и глиняной, и прочих товаров, как-то: холстов, полотна, шелка, ниток, мыла и преразличных пряностей. Товары эти сплавлялись по Волге из верховых губерний на судах (дощаниках) крепкими на копейку и купеческое слово промышленниками. Старожилы рассказывают, что в те времена важные купцы, соперничая меж собою, изо всей мочи старались соорудить на личное иждивение храмы Божии или возле своих домов, иль непременно неподалеку от них, чтобы со своей семьей и со всеми служащими быть на божественной литургии обязательно в собственной церкви, а не другим кем сооруженной. Этот отголосок старины и вправду заслуживает вероятия, оттого что в этих местах отродясь не было, да и теперь нет ни единого дома, который принадлежал бы помещику либо чиновному лицу, а все купеческие, большого размера, каменные двух-трехэтажные; и вблизи почти каждого обширного дома и расположена церковь.

Увы, Кречетовы о «золотых крышах» мечтать не могли. Жили, как говорится, «с медным рублем в кармане». Семья росла, и забота о куске хлеба не отпускала ни на минуту. И хотя подчас хомут судьбы гнул к земле, заставляя жить в долг, цели у главы семьи были большие, с дальним прицелом: Иван Платонович – жилы вон – пытался доказать всему миру свое благородное происхождение, пожалуй, как задумывался сам Алексей, скорее всего, мнимое... Батюшка решительно хватался за дело на любом поприще, во что бы то ни стало пытаясь сделать карьеру, и... разбивал лоб. Но самое обидное, самое прискорбное в этих композициях было то, что Иван Платонович не обладал ни деловой хваткой, ни практичной житейской жилкой. Разубедить же его в их отсутствии так никто и не смог.

Отпущенную Господом энергию и силу он потратил на куриные хлопоты и бестолковую прыть. Домашние до горьких слез помнили, сколь высок был градус его напряжения в этих «воздушных» делах.

Что делать? Иван Платонович, право дело, до последней черты не терял надежды обивать пороги судебных и гражданских палат, ломая в отчаянье гусиные перья, едва ли не еженедельно подавая и отсылая все новые прошения.

Злые языки соседей по этому поводу втыкали занозы в трактирах: дескать, при появлении «многострадального» Платоныча в сортире мухи, и те неодобрительно жужжат, потом, рассевшись на стенах, глазек на сего фрукта... А он, бедовый, все в толк не возьмет – что лишний он тут, что мешает мухам. «И то верно, смешон отец, – невесело заключал Кречетов. – Ей-богу, что пес старый – кусает одних блох... выставляя нас на посмеище...» – «Окстись, Алешенька, радость моя! Что говоришь? Он ведь родитель твой!» – испуганно повышала голос мать.

– Что думаю... – уходя прочь, обрывал он.

¹ Ныне это Музейная площадь в г. Саратове. – Здесь и далее в тексте романа примечания автора.

Между тем Ивану Платоновичу, от природы человеку упрямому и склочному, так и случилось прозябать в мещанском сословии. Нетерпимый, до края вспыльчивый норов помешал ему прийти ко двору и сделать приличную карьеру.

Не сумев прибиться ни к одному берегу, по сути, не владея толково никаким должным ремеслом, хозяин семейства честил и винил всех подряд, кроме собственной персоны, и нередко, когда заливал за ворот, срывал свои обиды на родных.

Иван Платонович мучительно, как библейский Иов, переносил неизбежно сыпавшиеся на его лысеющую голову камни унижения и крепко стал заглядывать в стакан, жалобно оплакивая свою пропашую жизнь.

– Ну-с, обмарался я кругом, – нервно булькая водкой, стонал он, – так что ж теперь? Прикажете сдохнуть? Ну-с?! Скажете, господин Кречетов... для общества скушный субъект? Никчемность? Враки! Это мир для Кречетова скушный и полная ерунда-с! Да ежели хотите знать, к моей натуре надо еще суметь ключи подобрать! То-то-с! А то ишь заладили: «Эх, Егор, наехал на косогор, вечно у тебя так...» Знаю я этих умников в жилетах! У самих в доме пожар, а они изволят в чистый родник-с плевать. Эй, Алешка, уважь отца! Подойди, налей родителю рюмку-с! Я тебе за то... дам мое наказание! Знаешь ли, сын? – расправляя сложенные крылья пьяной души, наливался жаром Иван Платонович, тяжело подбирая слова. – Ну-с, скажем, что жить спокойно, не живя разумно и честно, никак не возможно-с. Мм? Ладно, изволь другое: лечить тело – трудно-с, а лечить душу... тем паче ответственно. Что воды в рот набрал? Не хочешь к отцовскому костру сесть, все думаешь свой развести? – Старший Кречетов бросил на Алексея презрительно-удивленный взгляд и, приметив, что в его руках таки блеснул пузатый графин, сухо заметил: – Одумался? Это дело.

– Да уймись ты, Ванечка! Ради всего святого! – Людмила Алексеевна, ломая в отчаянье пальцы, вступилась за молчавшего сына. Из ее прежде красивых, значительных глаз катились горячие слезы. Она – во всем благоговевшая перед неудачником мужем и признававшая его своим повелителем – нынче, за последние год-два, решила не мысленно, а вслух осудить его. – Он же сын твой! Не тронь Алешеньку своей проклятой водкой!

– Лексевна! Цыть! Труба ерехонская! – Сухой, что грецкий орех, кулак отца сотряс на столе посуду. Мягкое выпитым лицо задрожало. На минуту он стих, пугая тяжелым вздохом, оцепенел. Ровно какая-то тень внезапно прошла над ним и сковала льдом речь. Опустив голову, он пребывал в безмолвии, а затем изрек: – Да, он сын мой, как и старший болван Дмитрий! Но я им и отец! Гляди-ка, страсотерпцев² нашла... Да им впору самим в дом деньги нести, а не на шее моей сиживать! Не позволю! Хватит меня кормить вашими фокусами да правдами! Посмотри, как живем, мать? Крысам в подвале, и то краше! Из прислуги остались кухарка да нянька, что даром мой дом объедают...

Такие «дивертисменты» отца стали не редкостью. Оба брата – старший Митя и младший Алексей – из резвых, шустрых сорвиголов превратились в безмолвные тени, и право, их звонкие, бойкие голоса боле не откликались на призывный щебет соседских мальчишек. Эх, а ведь раньше!.. И Вáловая, и Пеший базар, и все как есть переулки в пять-шесть сажен шириной, вплоть до площадей Соборной и Театральной³, знали их резвые ноги и пытливые глаза... Но с неудачами отца, с его черными запоями – все кануло в Лету, все стало недостижимым. И если Митя, будучи старше на три года, теперь с рассвета до сумерек в летнее время пропадал в булочной лавке купца Лопаткина, зарабатывая копейку, то семилетний Алеша сидел дома при матушке, выслушивая брань отца и оханья няни. О, как мечтал он ночами быстрее вырасти, быстрее окунуться в кипучую жизнь, что грохотала за окнами ненавистного

² Страсотерпцы – один из чинов святости в православии. «Терпящие страсти», т. е. мучения, безропотно и безвинно, уподоблялись Иисусу Христу. Как страсотерпцев Русская церковь канонизировала, например, князей братьев Бориса и Глеба.

³ Названия улиц и площадей старого г. Саратова.

дома. «То-то счастлив Митя!» – закрывая глаза, едва сдерживая близкие слезы, шептал он детскими губами. Он до мелочей представлял двухэтажный особняк Лопаткина, что, казалось, от веку прижился на Москворецкой улице, рядом с домом Малеевского⁴. Булочная завсегда была полна покупателей. В дальнем углу, возле не остывших еще, дышащих жаром железных ящиков, гудела последними сплетнями толпа, жаловавшая знаменитые лопаткинские кулебяки с мясом, пирожки с яйцом, рисом, капустой, творогом и изюмом. Публика там собиралась – в глазах рябило – от учащейся молодежи до убеленных сединой чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до худо и бедно одетых рабочих баб. На славном сливочном масле, со свежим фаршем пятачковый пирог «Саратов-град» был столь велик, что даже парой ртов возможно было сытно поесть.

«Хлебушко черненький труженику первое пропитание!»⁵ – любил повторять «словесные запуски» своего хозяина Дмитрий.

– Отчего у вас хлеб на Москворецкой завсегда так хорош? – интересовались вновь пришлые, покупая фунтиками хлеб черный и ситный.

– А потому, сударь, что хлебушко заботу да ласку любит. Выпечка выпечкой, а вся сила в муке, братец. У Лопаткина покупной муки отродясь нет... Как есть – вся своя! И рожь, и пшеницу отборную берем-с на местах... На мельницах опять же свои «глаза» поставлены, чтобы ни соринки, ни пылинки... Чтобы жучка... не дай бог! Вот этак, сударь. Все вельми просто. Эх, калачи на отрубях, сайки на соломе! – всегда радостно заканчивал речь Лопаткин своей любимой поговоркой.

Однако, несмотря на все старания семьи вынырнуть из омута нищеты, дела шли из рук вон плохо... Маленький Алексей не раз становился невольным свидетелем «негласных», при поздней свече разговоров родителей; отец все крепче подумывал переехать в Санкт-Петербург, где второй десяток лет коренилось хозяйство его свояка.

– Там, бог даст, поддержат на первых порах и угол справят, Лексевна. Мы ведь, чай, не чужие им? Оно-с, конечно, в провинции по всему-с дешевле, так ить, увы, душа моя, перспектив для твоего обожателя тут – никаких! Одно верно-с: стыдно, право, перебираться в столицу ни с чем, – убивался Иван Платонович. При этом он по обыкновению нервно поправлял измятый за день воротничок белой сорочки, приглаживал редкие, невнятные волосы и плакал в ладони своей единственной. Маменька – кроткая, тихая женщина, слепо любящая мужа, неизменная заступница детей, тоже плакала. Ее безмолвное движение губ от неслышного, но выразительного шепота согревало горячей молитвой.

– Ах, ты сердечушко мое доброе, – мелко дергаясь каждой морщинкой лица, всхлипывал супруг, виновато целуя ее пальцы. – Алешка такое же унаследовал от тебя. Добрый... даром, что молчун. А Митенька нет... не тот. Хоть и все из одного куска теста слеплены. Вот-с ить как, голубушка, вот-с...

Так они сживали порой до утра в редкие минуты согласия и откровения, прислушивались к тягучим глухим ударам своих сердец, словно каждый стук их был, право, последним.

Шло время, но надежды на скорый переезд так и остались несбыточными. Иван Платонович последовательно, как лесоруб на делянке, продолжал пропивать нажитое добро и все чаще возвращался со службы через трактир под «крупнейшей мухой». Повзрослевшие за четыре года сыновья теперь острее ощущали пугающую раздражительность родителя, терявшего почву под ногами, и не раз за неделю познавали на себе его мстительную руку.

Все это не могло положительно сказаться на детях. Шестнадцатилетний Дмитрий, этим годом заканчивающий гимназию и мысливший подать документы в Мариинский институт⁶, на

⁴ Одна из известных купеческих фамилий Саратова в XIX в.

⁵ Здесь и далее в тексте романа автор использует некоторые цитаты из очерков В. Гиляровского «Москва и москвичи».

⁶ Мариинский институт был основан в 1854 г.; на первых порах институт помещался в доме частного лица (г-жи Челюст-

пьяные окрики папаши отныне отвечал презрительным холодным молчанием, и лишь углы его губ подергивались всякий раз от страстного желания оскалить зубы.

– Глянь, Лексевна, какого волчонка вырастили на свою голову! Ах, как смотрит, стервец, на родного отца – чистый зверь!

В Алексее играли другие ноты. Задумчивый, мечтательный, чаще грустный, худой не в пример братцу, он в штыковые атаки не шел. Мир, которым был полон младший Кречетов, был закрыт даже для сердобольной маменьки. И все же цепкий сторонний взгляд обращали на себя внимание большие карие, не по-детски серьезные глаза, жившие какой-то особенной жизнью на бледном нервном лице. И если в Дмитриии от года к году копилась злость и, в противоположность дряхлеющему отцу, наливались тяжестью кулаки, то в Алексее происходили духовные метаморфозы. «Мир, сыне, не потому уцелел, что живот набивал, а оттого, что смеялся и помнил о Боге... Не хлебом единым жив человек. Помни, главное – пища духовная, данная нам Отцом Небесным...» – крепко держал Алексей подо лбом слова местного батюшки.

Внутренний мир Алеши и вправду имел иные, яркие цвета. Еще с детства Людмила Алексеевна, няня, да и сам Иван Платонович узрели в младшем пружину артистической души.

– Экий ты лицедей, братец! – хлопая звонко в ладоши, морщил от смеха лицо отец. – Да кыш ты... язвить тебя... воду всю взбаламутил! Ты ж только погляди, мамочка, каких типов выводит Алешка-то наш! То гусем пройдет, то свиньей хрюкнет... ни дать ни взять, все почетные фамилии Саратова по полочкам разложил. Тут тебе и Бахметов, и Железнов, тут тебе Еремеевы и Угрюмовы! А как вирши декламирует, плут! Э-э, братец, да ты талант у меня! Уж на что же лучше.

Такие минуты окрыляли мальчика. Он еще не осознавал, что за таинственная великая сила влекла его к чуду, имя которому было театр, но чувствовал сердцем, чувствовал всем естеством, что всегда любил его, любил больше, чем все свои детские «сокровища», больше своего дома, решительно больше, чем все остальное. В такие мгновения, в окружении улыбок домашних, полный недоумения и неясной тревоги, непонятного терпкого восторга, он шепотом обращался к небесам:

– Милый Боже, помоги мне! Милый Боже, даруй мне счастье осуществить мечту...

Глава 2

В один из знойных июльских дней, когда нестерпимый жар заставляет, оставив дела и заботы, броситься в Волгу, валдайский колоколец на дверях плеснул настойчивым, властным звоном.

Василий Саввич Злакоманов – рослый, громогласный и толстый, представляющий на торговом горизонте Саратова весьма завидную фигуру, сотряс сирое бытие Кречетовых.

– Здравие дому! Сам-то где? Воюет поди, ха-ха! Государеву волю исполняет? – с порогу взорвался сиплым смехом Злакоманов, не на шутку испугав остолбеневшую няньку Степаниду. – Эх, Платоныч забавник... Так-то он дорогих гостей встречает. Ладнить... Обождем покуда, а вот кабы стравить его с медведем, тогда б и глянули, каков он забавник. Ну, что стоишь, старая? – Злакоманов с напускной грозой в глазах воззрился на прикрывшую полураскрытый рот Степаниду и цыкнул: – Живо сыщи хозяина! Скажи, Василий Саввич пожаловал. Да шевели ногами, мать. У Злакоманова каждый час на рупь поставлен... Н-ну!

Степанида, доселе укоризненно вытянувшаяся под градом словес, лишь охнула и, придерживая темный сарафан, заковыляла исполнять приказ. При этом застиранный желтый платок сполз с ее головы, открыв на затылке алтынную лысинку среди грязно-серых волос.

Злакоманов, довольный собой, заложив крупные пальцы за парчовый в снежинку жилет, воссел на приглянувшийся стул и, вытянув ноги в хромовых сапогах, деловито огляделся окрест.

– Да уж... на серебре тут давно не едят... да и чай по всему «жидок» подают... – не стесняясь стен кречетовского дома, вслух заключил купец. Он недовольно, ровно мучаясь изжогой, оценивающе глянул на старый турецкий диван с оторванными кистями, на круглый стол, что по обедам собирал всю семью, на испуганно задвинутые под него стулья, на молчаливый, красного дерева резной буфет, за мутным рифленным стеклом которого стояли шербатые шеренги бокалов и рюмок, и сделал вывод, что единственная стоящая вещь в горнице – это на славу разросшаяся пальма, жившая в дюжей кадке у трехстворчатого окна.

– Помилуй бог! Помилуй бог, кого вижу-с! Василий Саввич – вот-с радость-то! И какими дорогами-с! – с куриной поспешностью поправляя служебный синий сюртук, вынырнул из-за дверей хозяин. На его казенном лице, словно прихваченная сургучом, расцвела угодливо-приветливая улыбка. – Ужли не забыли-с моей малости? Ужли не забыли, красавец вы наш, Василь Саввич? – дрожал всем телом Кречетов, в подобострастном поклоне протягивая руку.

– Ну что за глупости! Стыдно, Платоныч! Ну уж я тебя... Да полно, полно! – сурово и строго отрезал гость, насилу высвобождаясь из двойного рукопожатия.

– Эй, Степанида! Как есть все на стол! Василь Саввич! Сам Злакоманов нас посетили-с!

– И ребрышки копченые, батюшка, подавать? Сами давеча велели на Петра и Павла сбегать...

– Дура-а! Я же сказал – все! О Господи Иисусе Христе, ради всего святого простите, голубчик Василь Саввич, кругом, знаете ли, непроходимая тупость! Тьфу, утка хромая! Просто жуть берет, да и только... гиперборейские дебри-с...

– Какие? – Набыченный из-под кустистых бровей взгляд Злакоманова тотчас насторожился, поймав для своих ушей незнакомое слово.

Но хозяин, не слыша вопроса, уже метнулся к буфету, распахнул дверцы и, сноровисто подхватив ближайшие рюмки и графин, принялся их устраивать на столе.

– Сие опохмел, батенька, уж не забидьте товарища... прошу-с, прошу-с покорно, без сантиментов, легче-с будет...

– Кому? – снова свел темные брови Злакоманов.

– И мне-с, пардоньте, и вам-с, Василь Саввич. Долбит-то и знобит как, точно на дворе январь.

– Думаешь? – недоверчиво, глядя на поднесенную к его носу водку, буркнул купец.

– Уверен! Ну-с, ну-с... – ласково пропел Кречетов и, дзинькнув стекло о стекло, высоко опрокинул рюмку. Крякнув, мелко перекрестив рот, Иван Платонович с готовностью громыхнул оседланным стулом и, в предвкушении задушевного разговора, потер взявшиеся теплом ладони. Не обращая внимания на хлопотавшую насадкой вокруг стола Степаниду, нырнув вилкой в квашеную капусту, Кречетов не преминул наполнить рюмки. Неожиданно, как-то сама собой вышла заминка. Оба молчали, глядя в тарелки, прислушивались к залиvistому голосу хозяйского петуха, к мерному чаканью подков; закупка соли для солонины была в разгаре, из окрестностей Саратова и гнилых окраин – откуда взяться – понаехали извозчики, и медные бубенцы на шее их низкорослых, брюхатых лошадей наполняли воздух улиц гремливym жуужанием.

– Вот ты рассуди, Василь Саввич, – шумно выдохнул хозяин. – Что ни говори, а русский барин нонче круглый дурак... думает одним днем. И сам нищает, а того понять не желает, что народишку копейку тоже в ладонь бросить след, чай, люди, не свиньи... Ох, доиграются, боюсь, кроворубка в России грядет...

– А у нас без нее никак невозможно-с, Платоныч, без крови-то, – смачно обгладывая бараний хрящик, в тон прогудел Злакоманов. – Любить меньше будем. Землица наша издревле кровушки жаждет. Но ты брось сердцем багроветь, брат. Главное – есть у нас Церковь Святая, – гость наложил широкий крест на свою необъятную грудь, глядя на лик Богородицы, – что готова врачевать наши грешные души... вразумлять и пестовать нас, православных, с материнской любовью и отеческой строгостью. Так-то. Ладныть... ты мне кисель тут не разводи... Ишь, о России заботы заимел. Да за такую блажь в трактире порой и тышшу отдать сподручно. Я ведь не затем к тебе в дверь постучал. Помню твою мольбу на Никольской в мае... Думал... думал по сему, не скрою. И похоже, знаю, что тебе надо.

– Тогда, Василь Саввич, вы по всему знаете, как с нами договориться. – Хозяин осекся, придерживая вилку с грибком у рта.

– Хм, а в этом есть смысл.

– Извольте, батенька, еще водочки? – Кречетов нетерпеливо зажурчал содержимым графина.

– Ишь, Бахус как тебя раззадорил, Платоныч. Нет, уволь, купидон, оставь стрелы – мы уже не целы. Довольно «огневку» дуть, дела еще есть... уж по шестой приговорили... Да и тебе, Иван Платонович, довольно-с. Небось твоя половина за эти «свечки» по голове не погладит?

– Лексевна, что ли? Э-ээ, бросьте, сударь... – Кречетов отмахнулся при этих словах, как от мухи. – Да что ты, государь мой, помилуй бог. Моя жена вовсе как будто и не жена мне...

– А кто ж? – через сытую отрыжку удивленно гоготнул купец.

– Да так... вроде что-то... чего-то... Ай, Василь Саввич, давай начистоту! Человек, – хозяин красноречиво ткнул себя пальцем в грудь, – может быть, при твоём приходе впервые по-человечьи жить начал! Хочешь правду? А что: я свою жизнь, пардоньте, сладко прожил: водку пил-с и баб любил-с.

– Ой ли, ой ли? – еще далее отодвигая рюмку, покачал головой Злакоманов. – Вот так так, брат. Весело живешь... Ты мне эти песни брось! Эх, кабы ваш теляти нашего волка сожрал. Сгинешь без нее! Узда она тебе и ангел-хранитель. Знаешь ли?

– Я-то знаю, а ты-то знаешь? – пьяно взвыл Платоныч.

– Ну-с, хватит! Сыт! Этих слез у каждого кабака лужа. Я ведь, собственно, по твоей просьбе тут.

– То ясно... – У Кречетова екнуло сердце, когда он узрел перед собою налитое недовольством лицо важного гостя.

– Так какого черта время тянешь? У Злакоманова каждый час на рупь поставлен. Смотри, отступлюсь.

– Не приведи господь! Виноват-с, Василь Саввич, – смиренно потупив темные глаза на пустую рюмку, едва слышно выдохнул отец Алексея. – Виноват-с. Дурной тон. – И уж совсем жалко добавил: – Выпить, поговорить не с кем... вот-с и...

– Ну вот что. – Злакоманов, уверенно притянув за грудки собеседника, сыро дыхнул ему в лоб. – Слушай сюда: младший твой дома?

– Не могу знать, – честно мотнул головой хозяин и, продолжая преданно смотреть пьяными глазами в глаза почетному гостю, с готовностью изрек: – Но ежели надо, Василь Саввич, один мумент... я его так выпорю, через четверть часа, помилуй бог, себя потеряет.

– Глупый, я ж не о том... А еще управляющим, поверенным в делах моих прежде был. Ты ж сам глаголил, у мальчика талант к лицедейству есть? Так ли?

– Так-с, отец родной, – с дрожью в голосе прозвучал ответ.

– Говорил, что твой молодец на ярмарке похлеще заезжих «петрушек» штуки выдает... Так?

– Так-с и есть.

– Так зови же его, дурья твоя башка. Взглянуть на него желаю и, ежели убедит он меня своей выдумкой, искрой Божьей, кто знает, определю в театр. А то и до самого антрепренера Соколова⁷ дойду. Энти господа на моих дворах частые гости. Деньги, брат ты мой, всем о-о как нужны, и столоначальникам, и нищим. Жаль Переверзев Федор Лукич⁸ нонче в отъезде. С ым-то я на короткой ноге... Душа человек, доложу я тебе, Платоныч... до самых краев наш, уважает брата купца. – Злакоманов мечтательно закатил глаза под потолок, вспоминая бывшие картины утех в губернаторском доме, и, с хрустом почесывая сивую, лопатой бороду, разродился: – Что я тебе порасскажу сейчас, братец. Ты токмо наперед накажи своей Степаниде, чтобы сынка сыскала.

После того как нянька, хлебнув очередную порцию страха, бросилась исполнять приказ, купец аппетитно хрустнул малосольным огурчиком и натужно засипел:

– Ты ж пораскинь умом, Платоныч! Скажем, кутеж... Э-э, это дело тонкое, требующее не только денег, но и куража. А Переверзев Федор Лукич любит... эх, как-с любит грешным делом покуражиться, знает в сем толк, не мы... Жалует он крылья расправить, покутить с избранными и близкими к нему физиями. Скажем, опосля того, как оканчивается в собрании бал и разъезжаются разные там розовые пуховки, тут кутят, будьте-нате, как душе вспорхнется, скинув с себя фрак и прочую обузу... Сиживали-с и на полу, и на персидских коврах... как полагается, в знатном хороводе бутылок и рюмок. Замечу, при сем непременно бывает и наш столоначальник Чекмарев, Федор Лукич крепко любит и уважает его. Кстати, брат, губернатор наш пьет одно-с шампанское, прочих вин и вовсе не терпит... Нет, вру! – Злакоманов на секунду озадачился, кусая губы, точно винился на исповеди. – Только по утрам и вечерам... его организм принимает еще кизлярку и водку кавказского изделия. Вот ее-то, родимую, он пьет стаканами... Где тут угнаться! Помню, на обедах иль ужинах, вот те крест, подле его прибора уже потела ожиданьем бутылка шампанского и знатный фужер, в кой кулак входил, и частенько эта бутылка сменялась новой. «Убрать! Убрать немедленно покойницу! Ни уму ни сердцу ей тут стоячиться! Вон!» – любит говаривать он и мизинчиком так брезгливо тыкат на пустую посудину, ровно она и вправду, стерва, смердит. И веришь, Платоныч, чем крепче он вздергивает водкой себя, тем умнее делается и на язык теплее. Опять же анекдоты, как из того лукошка, один за другим... так и сыплет, будь я неладен! Но вот закавыка: как бы ни был он

⁷ Соколов – при Переверзеве (1831–1835 гг.) театр переделали; выписали из Москвы антрепренера Соколова, и на зимнее время оттуда же приглашалась труппа певцов-цыган.

⁸ Переверзев Федор Лукич – с 1831 по 1835 г. был действительным губернатором г. Саратова; автор умышленно переносит период его правления на более позднее время.

пьян, по приезде домой Федор Лукич, ровно в нем черт сидит, – идет в кабинеты, вынимает из портфелей бумаги-с, что подготовила канцелярия за день, тут же бумаги и по губернаторскому правлению... и нате, пожалуйста, не заснет, пока их все не рассмотрит. Вот это-с я понимаю! – не скрывая слез восторга, воскликнул Злакоманов, беря для себя передышку. Живо подставил забытую было рюмку, хватил ее без остатку и, взявшись крупной испариной, с сосредоточенным видом навалился на сало.

Иван Платонович – весь внимание – тоже не упустил момент – обжег горло водкой и мечтательно почесал за ухом. «Эх, кабы хоть единым глазком взглянуть на ваше гулянье!» Увы, такое случалось с ним только в снах. Однако при действующем губернаторе и вправду наступил «золотой век» для Саратова. Кречетов наморщил лоб: «При Переверзеве был открыт немецкий клуб для среднего класса саратовского общества, где участвовали чиновники всех ведомств, мелкое дворянство со своими семействами, купеческие сынки, которым недоступно было участие в благородном собрании». В немецкий клуб хотел определить младшего сына и сам Иван Платонович, однако держал до поры про запас злакомановское «даст бог, подсоблю». Нет, что ни говори, а при Федоре Лукиче не было стеснения чиновникам по службе, особых каких-либо налогов на жителей всех сословий и крестьян; в губернии все шло своим чередом; к тому же были благоприятные урожаи хлеба. В народе, что важно, не замечалось крайней нужды, да и цены, что Бога гневить, на провизию были щадящие. Дворянство, купечество и служащие не могли нарадоваться на губернатора. Кречетов по слухам, по разговорам, доподлинно знал: акцизные не отрешались и не удалялись от должностей; но если на кого были жалобы, то личные взыски Федора Лукича были выше уголовного суда. Всякий чиновник, как черт ладана, боялся быть лишенным внимания и милости губернатора, а посему держал себя по службе строго и не допускал на свою персону никаких жалоб, стараясь уж как-нибудь уладить дело с недовольными лицами. Пожалуй, только один председатель палаты уголовного суда господин Шушерин точил зуб на Переверзева и по ночам опускал перо в склянку для доносов в столицу. Причина недовольства, собственно, заключалась в том, что губернатор не отрешал от должностей городничих, исправников и других чиновников и не отдавал их под суд палаты уголовного суда, то бишь в руки Шушерина. Тем самым губернатор лишал главного судью взятка. Шушерин часто «подливал яда», дескать, Переверзев слабо держит чиновничью рать, не делает с нее должного взыска, что в течение двух-трех лет не снял ни единого чиновника, тогда как в Казани, откуда он прибыл в Саратов, губернатор каждый месяц отдавал по пяти и более мздоимцев под суд. «Конечно, – рассуждал Кречетов, – может, оно и так, может, и следовало бы с кого шкуру содрать, но одно то, что Переверзев замечал бедного чиновника, кой не в состоянии был прилично одеваться, и приказывал при сем правителю канцелярии помочь ему, да к тому же и сам многим давал деньги, говоря: “Это за труды”, – снимало с него все нападки».

Злакоманов с не сходящей серьезностью, в душном молчании одолел принесенную Степанидой крупно нарезанную телятину, скупно похвалил и устался на свои сапоги, которые с утра усердно ваксила щетка Прохора. Затем вытянул за жирную золотую цепь увесистый брегет, шелкнул крышкой и недовольно надул заросшие волосом щеки.

– Ну-с, братец, засиделся я у тебя. Засим прощай, видно, не судьба мне была увидеть твоего акробата.

Стали подниматься. Иван Платонович в отчаянье по-бабьи всплеснул руками, поджимая бледные губы. Его осоловевшие глаза безвинно обиженного человека были устремлены на Василия Саввича.

– Да ты никак сердиться на меня вздумал, Платоныч?

– Что ж, судите, как вам будет угодно-с. Может, и сержусь... имею право. Слабого человека завсегда-с обидеть возможно-с. А на посошок?... – Кречетов заплакал.

Глава 3

– Будет тебе, суконный язык. – Василий Саввич, солидно оглаживая холеные усы и бороду, винительно потрепал щуплое плечо Кречетова. Немало смущенный и растроганный внезапными слезами своего бывшего управляющего, он хотел было сунуть ему красненькую, как двери распахнулись и в горницу кротко, с растерянным лицом вошел Алексей в сопровождении матушки. С гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей, в строгом и скромном платье она молча стояла за спиной сына.

– Примите наши извинения за опоздание, Василий Саввич... Премного благодарны вашему визиту. – Людмила Алексеевна, розовая лицом, чуть подтолкнула в спину остолбеневшего Алешу. По расстроенному лицу мужа она догадалась, что громких слов благодарности восклицать не стоит, а по своему женскому наитию и мягкосердечию живо смекнула, что следует делать.

– Что ж ты стоишь, право? Подойди, подойди, поклонись, дурно быть таким невежливым. Василий Саввич, благодетель наш, за тебя хлопотать приехали. – Людмила Алексеевна вновь, уже чувствительнее, подтолкнула сына.

– Ба! А младший-то ваш каков молодец! Наше вам, голубушка! – Злакоманов в почтенье тряхнул седеющей прядью хозяйке. – Да и лицом хорош, лбом высок, взором чист, кость благородная тонкая, даром что не барчук. Ужли не помнишь меня, а? Да-а, мал ты тогда был, ну разве чуть выше моего сапога, ха-ха! А ну-к, подойди ко мне, да не бойся. Вот так, молодец! Скребется во мне вопросец к тебе. Ну-с, как тебя величать прикажешь? – задорно хохотнул купец, сковывая худые плечи Алеша тяжелыми руками.

– Кречетов, – тихо, однако без лишней робости прозвучал ответ.

– Как, как? – Густая борода с застрявшими в ней хлебными крошками приблизилась к самому лицу мальчика.

– Кречетов, – громко повторил Алексей, морщась от влажного водочного духа.

– Тьфу, ешь твою душу... – в сердцах шмякнул себя по колену мясистой ладонью купец. – Так имя-то у тебя есть? Ха-ха! Али родители позабыли тебя окрестить?

– Отчего же... Алексеем назвали... по святцам выпало, – малость замявшись, бойко и четко ответил он и вдруг стремительно – раз-два – показал назойливому толстопузу торгашу язык. Это произошло столь быстро, что ни маменька, ни сидевший рядом отец положительно ничего не заметили. Сам же Василий Саввич после этой выходки пришел в тягостное, оцепенелое состояние, крепко раздражаясь прежде на самого себя, оттого как не мог взять в толк: привиделось ли ему это безобразие натурально или только поблазнилось.

На помощь Злакоманову в случившуюся паузу пришел старший Кречетов:

– Что же ты, право, столбом фонарным стоишь, сын? Распахни себя, честное слово. Поведай Василию Саввичу о своей мечте, а то обидно-с становится за тебя... В артисты метишь, а того не знаешь, что живцом при этом следует быть.

– Да он у вас, похоже, в козопасы намерился? – Приходя в себя, гость попытался свести беседу на шутку.

– А вот и нет! – зардевшись лицом, обиделся Алексей и вдруг согнулся в спине, превратив себя в коромысло, сморщил лицо – ни дать ни взять печеное яблоко, проковылял уткой к свободному стулу и прогнусавил голосом Степаниды, подхватив на руки дремлющего на комодке кота: – Эт кошка, сударь... ишь она, стерва, дурить. Кохти показывае нам, а они у ее, шельмы, что шила. Усё тоже душа... хоть и дурая насекомая, а все понимает: и ласку, и гневность... охонюшки, одно слово – тварь Божья.

Алексей закончил внезапно, как и начал: «разгладил» морщины, выпрямил гибкую спину, но... все продолжали сидеть, кто с открытым ртом, кто с завороженым лицом, покоренные неожиданной метаморфозой.

– Господи, Царица Небесная! Видано ли дело? Ах ты, шут окаянный! Грех тешиться над старой бабкой. Бес евоным языком бает, тьфу! – не удержалась Степанида. Охая и крестясь, через слово поминая то черта, то Бога, она убралась восвояси, крепко обиженная на своего любимца.

Однако маменька и отец ровным счетом не обратили внимания на сердитое квохтанье няньки. Напротив, их глаза, искрившиеся одновременно радостью и плохо скрытым волнением, придавали Алешке больше уверенности. В какой-то момент ему показалось, что чьи-то пальцы взяли его заполосно бьющееся сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Он бросил беглый взгляд на развалившегося барином важным гостя. И тут начал догадываться, что именно от этого толстого, бородатого дядьки зависит вся его дальнейшая жизнь. Щеки Алексея горели. Сцепив за спиной ставшие сырыми пальцы, он приготовился к смертельному бою.

– А ну, Лешка, жги! Покажи нам, любезный, «дуэль»!

Отец громко стал хлопать в ладоши, по-дружески подмигнув сыну, точно говорил: «Вот он, твой час, братец! Не подведи! Утри нос Злакоманову!» Заказывая сыну «дуэль», отец имел в виду нашумевшую, хорошо всем известную историю, что долго гуляла по Саратову.

У губернатора Переверзева в числе прочих приближенных к нему чиновников служил некто Барышников, сын балашовского помещика, и был весьма препотешный. Федор Лукич души в нем не чаял и как бы ни бывал порой сердит на его шалости, всегда спускал любимцу. А шалости и выходки случались иногда, к примеру, такого рода. В первый год приезда Переверзева ему необходимо было лично объясниться с балашовским предводителем, отчего он и пригласил того приехать в Саратов. Предводителем был господин Струков, по-суворовски шустрый и бойкий старик екатерининских времен, упрямо носивший косу, сапоги с ботфортами и мундир безвозвратно ушедшего века; вид при этом имел весьма серьезный и важный. Человек он был умный, уважаемый всей губернией и очень влиятельный. Вызванный в Саратов, Струков, не знавший и не видевший прежде Переверзева, захотел дознаться, зачем его выписали из Балашова, а посему заехал в канцелярию к Барышникову. Тот нимало сумняшся взялся доложить о приезде, причем на полном серьезе уверил старика, что-де новый губернатор безнадежно глух и с ним надо общаться как можно громче. Губернатору же Барышников поведал то же самое про Струкова. И вот старик, представясь Федору Лукичу, гаркнул, как на плацу: «Честь имею представиться... балашовский уездный предводитель дворянства». Губернатор, набрав воздуха, отвечал ему еще пыльче: «Очень рад с вами видеться». Многие бывшие там переполошились их дикому крику – «уж не тронулись господа головой?». А ор становился все громче и все отчаяннее. На счастье или беду случилось в это время приехать еще какой-то сановной персоне. Губернатор стал с нею говорить вполне обыкновенным спокойным голосом. Тут-то только Струков и убедился, что Переверзев вовсе не глух, и, покраснев до ушей, стал премного извиняться в громком «фельдфебельском лае», всю вину заслуженно свалив на пройдоху Барышникова.

Над этой выдумкой долго смеялись, и много было о сем пересуд. Струков же от губернатора прямиком нагрянул в канцелярию и едва не прибил ерника тростью, клятвенно обещая во время дворянской баллотировки непременно бросить ему двадцать пять черных шаров.

Эту историю, с легкой руки Ивана Платоновича прозванную «дуэль», нынче и разыгрывал в лицах Кречетов. У Василия Саввича от смеха даже в боку закололо, сперло дыхание; купец ревел медведем, держась то за живот, то тыкая окольцованным в золото пальцем в Алешку:

– Вот так бенефис! Ну, покори, ха-ха! Уложил на лопатки, пострел! Да ты и впрямь, братец, мастер розыгрыша! Водевилист из тебя, похоже, знатный станется. Нет, вы токмо гляньте, сударушка Людмила Алексеевна, как он у вас, шельмец, калькирует их превосходительство. Ха-ха! И откуда что берет, чертяка? Тут тебе и «скоты», и «ослы», и «телята»! – все словечки, что сыплет во гнев Федор Лукич. Поди, твоя работа, Платоныч? Ой, смотри, с огнем играешь... Их благородия не жалуют вольности... Ну да ладнеть, все равно молодца! – Злакоманов снова сотряс горницу гыкающим смехом. – За такое дело, Алексей, я еще раз чокнусь с родителем твоим. Наливай, Платоныч!

– Извольте, гостюшка дорогой, чтоб Алеша еще что изобразил? – мягко улыбаясь, словно невзначай клюнула вопросом маменька.

– Ну уж нет, благодарствую. Верю! Сыт примером... душа больше не примет...

Зазвенели рюмки, табачный дым сизой вуалью потянулся под потолок.

Алешка, весь напряжение, еще не вполне отдышавшись от представления, впился, что шип, глазами в купца. Одобрение взрослых было для него наградой. Но почивать на лаврах не приходилось; вопросы «возьмут – не возьмут», пристроят ли его в театр, вырвав из опостылевшего дома, становились невыносимыми. Внешне оставаясь спокойным и ровным, он судорожно стиснул зубы, так что заломило скулы. Прикипевший к бородачу взгляд ловил на его губах первое слово, которое они произнесут. В какой-то момент в его горячем сознании мелькнула шальная мысль упасть на колени перед этим огромным дядькой, схватить его намертво за сапог и умолять, умолять, не скрывая слез и отчаянья, взять с собой, покуда его степенство не оттаит сердцем. Но твердые слова приходского батюшки сдержали Алешку: «... Не смей себя унижать коленопреклонством. Поступка сего достоин лишь Бог!...»

– Ну что-с, уважаемые. – Василий Саввич с купеческой основательностью утер кумачовым платком мокрые губы. – Ладнеть, быть посему. Нынче-с же заберу мальчика и представлю Соколову, – торжественно поставил жирную точку в «смотре» Злакоманов и тут же поманил к себе Алексея: – Вот что... слушай сюда... – по-отечески слохматив пятерней русые волосы подошедшего подростка, весомо уронил торговец. – Заруби на носу одну истину: в жизни, савояр, трудиться надо, а не «ура» кричать. Служба... лени, измены и праздности не прощает, так-то вот! Гляди, не осрамись! Чтоб я за тебя не краснел. А теперь собирайте парня. Я через час заеду.

– Государь наш! В ноги, в ноги, Алешка! Руки целуй спасителю! Вот оно-с, неизбежное, мать. Господи, дай бог тебе здоровья! Век на тебя молиться будем-с, благодетель ты наш!

Иван Платонович суетно, как мог широко распахнул руки, желая на дорогу заключить в объятия Злакоманова, но Василий Саввич недовольно повел налитым плечом, легко отстраняя отца.

– Что за глупости, брат, будет. Коль я с тобой, значит, и общество-с. Чай, не прощаюсь. Наше вам, Людмила Ляксевна.

Глава 4

Сборы были короткими. Алексею шел двенадцатый год, и родители были рады – не рады, что младшего все же удалось пристроить в театральное училище на казенный кошт. Положение актеров, признаться, было не лучшим: лицедейство в те времена особым почетом не пользовалось. Благородные известные фамилии не жаловали комедиантов городского театра и ставили их немногим выше бродячих певцов с дрессированными собачками и сурками, что наводняли волжские ярмарки, расцвечивая их походными балаганчиками. Были и те, кто в театр – ни ногой, с убеждением полагая, что наслаждаться бесовскими представлениями есть, право, большой грех. «О чем говорить? – со слезами вздыхали и отводили друг от друга глаза родители Алексея. – Ежели скончавшегося актера или актрису... церковь настрого запрещает хоронить на городском кладбище...» Тем не менее маменька, не скрывая слез, благословила образком младшенького, живо собрала баулы и подала узелок с домашней выпечкой и небольшим запасом любимых Алешенькой сладостей. Проникновенно глядя в карие глаза сына, она испытывала сложную материнскую гамму чувств: щемящую боль расставания, неясные, а оттого еще более пугающие предчувствия перемен... и в то же время теплую волну облегчения. «У семи нянек дитя без глаза, а теперь мой сыночка под настоящим присмотром станет». Опять же голова не будет болеть ни о гимназии, ни о частном пансионе госпожи Кирсановой, где при отсутствии в семье денег Алексей числился в «приходящих». Напротив, положение актера при муниципальных и императорских театрах как-никак обеспечивало будущие горизонты сына, да и они сами, что греха таить, освобождали себя от лишнего рта. «Дмитрий уж совсем взрослый, не за горами в жизнь выйдет... Слава Христу, хоть на него денег хватило...»

– Алешенька! – Мать горячо прижала к груди молчавшего, собранного в дорогу сына. – Ты уж большенький, води себя хорошо, мой славный, будь вежлив, внимателен к старшим. Господи, да какой же ты у меня худенький, малахольный! – Маменька заплакала. У Алешки тоже защекотало в носу, к горлу подкатил предательский ком, на длинных ресницах сверкнули слезы. – Вот здесь... пирожки... твои любимые с печенью, луком... А хочешь, позаймись орешками, я Степаниде наказала уже колотых на рынке купить... Ты только кушай, родной, и знай, что мы тебя очень любим, любим... Я буду навещать тебя, милый! Ох, как жалко, что Митя в гимназии!

Раскрасневшееся, сырое лицо матери вновь прижалось к пылающей щеке Алешки.

– Ну, будет вам турусы на колесах разводить! Лексевна! Я сказал, хватит! Чай, не на смерть посылаем. Ты лучше аллилуйю нашему покровителю возведи! – Пьяно шаркая каблучками стоптанных туфель, из коридора подал голос отец, но вдруг осекся, насторожился. За прозрачным стеклом окна дробно и деловито застучали копыта, дружно брякнули бубенцы, послышались голоса. – Василий Саввич приехали-с! Ну, Лёшка. – Отец, напоследок обдав перегаром, больно поцеловал взволнованного сына. – Как говорится, вбей крепче, Фортуна, золотой гвоздь в колесо удачи. На, держи, неблагодарный, и помни доброту отца. – Иван Платонович, придерживаясь за дверной косяк, решительно запустил руку в карман полосатых брюк: – Деньги небось нужны?

Крайне смущенный напускной заботой, Алеша буркнул что-то невнятное.

– Ну, то-то. Вот возьми. – Выудив из кармана мятую, как чернослив, десятку, он протянул младшему. – Гляди, не транжирь враз на пирожные и качели, пригодятся! И не благодари, не люблю! – оборвал он сына, открывшего было рот. – Я ведь... и без того-с понимаю, что значит жить на казенный счет... – прибавил отец и неожиданно для Алексея тепло потрепал его по щеке пахнувшей селедкой рукой.

* * *

Выйдя из прохладного сумрака сеней, запинаясь то за баулы, то за полотняные узлы с вещами, что до ворот сподобила дотащить верная Степанида, Алешка сощурил глаза. Жаркое солнце золотой слюдой разливалось по темной синеве неба, которое, казалось, манило его к себе и смеялось, как маменька. У покосившейся, почерневшей от дождей будки призывно гавкнул и обиженно заскулил, железисто гремя звеньями цепи, Жук. Учув важныя перемены, но оставшись брошенным, незамеченным в случившейся суете, огромный овчар рвал цепь, рычал, бросаясь туда-сюда, жалобно подвывал и снова вставал на дыбы, желая быть рядом, в курсе событий, желая ощущать на себе глаз хозяев. Но всем было не до него...

За воротами, которые торопливо отворил шедший впереди отец, покачиваясь на высоких, полукругом, рессорах, блестел карим лаком по-летнему открытый кузов дорогого экипажа; в нем, попыхивая турецкой трубкой, нетерпеливо ожидал Василий Саввич. Впереди на широких, обитых черным ялом козлах, важно подбоченившись, восседал лакомановский кучер. Но не из тех, кто мается на перекрестках с измученной, пузатой, мохнатой клячей. Этот «лихач» не был подпоясан обрывком вылинявшей вожжи, да и на голове у него был славный, с красным околышем, картуз, а не драная овчинная шапка, из прорехи которой султаном торчит кусок пакли.

Алешка разинул рот: «Во-от это да-а!...» Таких тысячных рысаков, запряженных тройкой, он видел только издалека, когда те, под гиканье и лихой окрик «побереги-ись! с дороги-и!», ветром проносились прочь.

Уж кто-кто, а мальчишки Саратова наперечет знали все масти извозчиков. К Гостиному двору, к присутственным местам, к Царицынской, а более, конечно, на Театральную площадь, как запаливали масляные фонари, отовсюду, что бродячие псы, начинали съезжаться извозчики, становились ухватом по окружности площади, а также в «линейку» по обеим сторонам театрального переуллка; прозевавшие место вытягивались вдоль гранитных бордюров по правой стороне, оттого как левая была сплошь забита лихачами и парными «голубчиками», платившими городу за эту биржу отнюдь не малые суммы. «Ваньки», желтоглазые погонялы – эти «гужееды» низших классов, а также «кашники-лохмачи», приезжавшие в губернский город только на зиму, «слюнявили халтуру» полиции.

Дюжие, как гренадеры, сторожа и дворники, устанавливавшие порядок, подходили к каждому подъезжающему извозчику, и тот безропотно давал «на лапу» загодя отложенный гривенник.

Зоркий городской чинно прогуливался посередине улицы и, что шука в пруду с карасями, подсчитывал запряжки для учета при дележе. Временами он подходил к лихачам перекинуться словом, а то и «здоровкался» за руку: «срезать» и «взять» с биржевых плательщиков было нечего. Разве только приятель-лихач удружит папироской⁹.

– Однако долго телитесь! Ровно невесту к попу собирали. – Лакоманов, теперь хрустевший «Ведомостями», то ли от чрезмерной усталости, то ли от дикой полуденной жары, то ли просто от скуки пару раз неприязненно покосился на старшего Кречетова, затем на ворчавшую няньку, и маменька по мнительности поспешила замолить сей грех:

– Впервые... сына провожаем... волнительно...

– Эй, Клим! – Тяжелая лакированная трость с костяным набалдашником боднула в спину сидевшего сиднем кучера. – Ты что же? Дрыхнешь, подлец? Вконец обоярился? Совесть мхом обросла? А ну, живо помоги погрузить багаж! Ишь, сукин сын! Ужо я тебе... – Василь Саввич погрозил волосатым кулаком быстро слетевшему с пригретой седушки кучеру. – Ну-с, с богом!

⁹ Гиляровский Вл. Москва и москвичи.

Как устрою дело, дам знать! – заверил купец сиротливо стоявшую поодаль чету, когда уместил рядом с собой ребенка. – Трогай, Клим! Помнишь, как я сказал?

– А то. – Кнут взвился и, стрельнув для куражу, обжег лоснящийся круп коренника.

* * *

Саратов с разноголосую сутолокою, грохотом телег, мужиков и баб, спешащих по делам, с корзинами, птицей, кулями, с торговым людом, с купцами, щеголявшими пролетками, изящными дрожками, лошадьми, упряжью, наемной прислужгой, – впервые открылся перед оторопелым взором Алешки с высоты злакомановского экипажа и наполнил его возбуждением и нетерпением ожидания встречи с театром. Крепко держась за стеганую лайковую обивку салона, он то и дело вертел головой на тонкой шее, точно скворец. Весь опутанный и радостью, и страхом от скорой встречи, от быстрой комфортной езды, он бессознательно теребил застиранную манжету своей белой сорочки и с доверчивой восторженностью хватался порой за колено или предплечье молчаливого Василия Саввича.

– Нравится? – улыбаясь в усы, нет-нет да и спрашивал тот, и Алеша, конфузясь, согласно качал русой головой. Огромный, с раздутым, что пивная бочка, животом, Злакоманов больше не пугал его. Наоборот, в душе подростка проклюнулись ростки симпатии к этому большому, сиплону и, как думалось Алексею, всемогущему человеку.

Меж тем, проехав по красавице Московской, мимо дома Акимовых, где Линдегренем была открыта первая частная аптека, они миновали Введенскую церковь, и Алешка понял, что Злакоманов не торопится попасть в театр. Делая четкие, краткие указания Климу, купец заезжал на малоизвестные мальчику улицы, приказывал придержаться у трактира или особняка и неторопливо, с достоинством исчезал в парадной или под вывеской, не преминув всякий раз щедрой рукой «выдать на чаишко» швейцару.

Когда Кречетов оставался один на один в экипаже с нелюдимым Климом, вернее, с его угрюмой, непробиваемой спиной в плюшевом зипуне, сердце начинало биться быстрее. «Отчего мы опять стоим? Почему не едем в театр?» – эти и подобные вопросы одолевали его, не давая покоя, продолжая заставлять вертеть головой и грызть в беспокойстве ногти. Откуда ему было знать, что Василий Саввич, первогильдийный купец, человек слова и дела, и кроме него – Алеша Кречетова – имел ежедневно гору собственных дел. Захаживая точно по часам в разные, известные только «своим», «поверенным» места, туда, где не слышно было ни музыки, ни голосов, он за дымной ароматной чашкой индусского чая с уха на ухо, без всяких пошлых чернил, заключал крупные сделки с оптовиками-миллионерами, то насчет хлеба, то соли, то листового железа... Эти влиятельные люди, державшие в руках от Самары до Астрахани практически всё, опозданий и отговорок никому не прощали. Здесь, на биржах, на дорогих дубовых столах, крытых азиатскими коврами, стояли атласные мешочки с пробой разноразного хлебашка и прочих товаров. Кругом висела тишина... Редко разве слетало с какого стола глухое, негромкое:

– Почем, сударь, натура?

– Натура сто с полтиною...

– А овес нынче как?

– Восемьдесят-девянносто, впрочем, как сторгуемся¹⁰.

Случалось тут разное, кто-то становился втрое богаче, а кто-то выходил бледным, как саван, сыграв в убыток... необдуманное слово подписав себе приговор. Но слово купеческое – кремь, тверже нет, и задом из господ коммерсантов никто не пятился. «Хоть разорись, а слово сдержи», – витал в воздухе негласный закон этих заведений. На столах в эти часы, кроме

¹⁰ Гиляровский Вл. Москва и москвичи.

чаю с лимоном иль кофею, – ничего. «Все опосля делов, – как тут говорили, – и завтрак, и ужин, и девочки».

– Что, заскучал, савояр? – ставя сияющий сапог на подножку качнувшегося экипажа, прогудел освободившийся наконец Злакоманов. – Ну-ну, не дуйся... У меня, братец, тоже дела неотложные есть. Зато теперича я полностью твой. Кли-им! Гони на Театральную! А это тебе... за терпение, лакомись, заслужил. – И Василий Саввич, будто сказочный маг, положил на острые коленки гремливый кулек с монпансье, а сверху довеском свежайшую ромовую бабу, всю в сахарной пудре и шоколадной глазури. – Жуй, не стесняйся, зяблик, в твоём «обезьяннике» такого не подадут. На вот, потом только утрись. – Купец, страдая грудной жабой, сунул больший, как полотенце, платок. – А то ишь, всю моську уже отполировал кремом.

И снова колеса загремели по редким мостовым Саратова. Ехали вдоль набережной, чтобы хоть малость отвлечься от зноя и подышать прохладой. Волга так и манила к себе, и, повинаясь её воле и зову, они все же сделали краткую остановку, бросились в бодрящие воды и вышли, чувствуя себя здоровее.

– Вот и добрались, братец, выходи. – Василий Саввич, придерживая трость, блеснул на солнце карманным зеркальцем и еще раз старательно костяным гребешком разбросил подвижные кудри, ровняя купеческий пробор.

При виде двухэтажного здания театра с прилепившимися к нему флигельками-сота́ми и церковью в верхнем этаже у Кречетова перехватило дух. Ражий, внушительного вида швейцар в ливрее открыл и запер за ними высокие двери.

Прежде Алексей ни разу не был в театре. Ни у отца, ни у маменьки на то не было свободного времени, а вернее, денег. Кроме уличных представлений, потешного театра «Петрушки» и бродяжких трупп циркачей, да нищих певцов с заморенным облезлым медведем на цепи, мальчик ничего не зрил. Правда, он обладал отменной фантазией, любил затевать разные игры, пародировать знакомых и близких, изображать животных, но из-за лютых розог отца был слишком тих, незаметен дома, чтобы данные склонности могли развиваться всерьез. И сейчас, следуя, как хвостик, за широко аршинившим Злакомановым, боясь отстать хоть на шаг, он прислушивался к глухому эху каблуков и строгому постуку трости, что разносились под сумеречными и пустынными сводами фойе, а затем бесконечного коридора. И когда Василий Саввич, круто повернув направо, стал, тяжело дыша, подниматься на второй этаж, где находилась дирекция, у Кречетова с каждой вновь взятой ступенью лестничного марша укреплялась вера, что положительно все окружающие предметы – диваны, банкетки, в серьезном, горделивом молчании стоявшие вдоль стен, развешанные в массивных рамах картины, местами истертые, с проплешинами на полах ковры – давно знакомы ему, понятны, а главное – дружелюбны... Станные, ни на что не похожие запахи воска, красок, опилок, духов и грима, чего-то еще особенного, специфического, словно дурман, кружили голову, вконец очаровав маленькое сердце. Постепенно Алешка почувствовал себя чуть ли не как у себя дома и уж точно забыл, что на свете существует его вечно пьяный отец и почерневшая от воды кадушка, в соленом растворе которой всегда зло топорщится пучок замоченных розог.

Глава 5

У двустворчатых резных дверей дирекции, с бронзовыми табличками на них, трость Василия Саввича придержала пробежавшего мимо лысоватого, похожего на крупного грызуна чиновника.

– Не обессудь, милейший... Могу ли я видеть господина Соколова?

Служащий, очевидно, немало знавший известного мецената, расплылся в радушной улыбке и угодливо указал на дверь:

– Отчего же-с, заходите, Василий Саввич, непременно-с застанете... Михаил Михайлович изволует-с на месте быть.

В следующий момент Алешка Кречетов в торжественном волнении впервые в жизни переступил порог дирекции. Там, за огромным двухтумбовым столом под зеленым сукном, в глубоком кресле, под трехсаженным в золоченой раме портретом императора Николая I сидел директор.

– Василий Саввич! – Он живо поднялся из-за стола, тепло пожал протянутую руку. – Ну, богатырь вы наш, эка сажень в плечах! Что же вы не проходите? Ах, вот вы с какой куделью пожаловали к нам, – глядя на стоявшего у порога Алешку, протянул Михаил Михайлович. – Слушаю вас.

Весьма вежливо и благожелательно вникнув в суть дела, Соколов извинился, сославшись на крайнюю занятость и некомпетентность касательно свободных мест, и, проводив Злакоманова до двери, направил его к члену театральной конторы г-ну Туманову, заверив при этом, что сложностей и недоразумений по этому вопросу, вероятно, не должно быть. Убеденный в благополучном исходе своей попечительской миссии, Василий Саввич, потрескивая паркетом, вместе с Алешкой последовал совету директора. Однако их ждала неприятная неожиданность.

Туманов, еще молодой, но не по годам плотный, как на совесть откормленный хряк, даже не обременив себя трудом оторвать зад с насиженного кресла, с надменной гримасой высказал сожаление по поводу «категорической невозможности» исполнить желание Злакоманова, мотивируя тем, что вакантные места в училище нынче отсутствуют.

– Вот ведь как получается, савояр... – отчасти растерянно, отчасти с досадой, положив на плечо Кречетова руку, повторил бородатый опекун. – «Вакантных мест нет».

Алешка лишь конфузливо улыбнулся в ответ и продолжал молчать, с надеждой поглядывая то на члена театральной конторы г-на Туманова, то на всемогущего своего покровителя.

– Похоже, возвращаться придется нам, парень, – все так же задумчиво, глядя куда-то поверх головы подростка, резюмировал Злакоманов.

«Возвращаться? Куда?» – удивленно, точно вспугнутый воробей, встрепнулся Алешка, крутнул головой и дернул купца за «спасительный» палец. Он уже успел десять раз попрощаться с родительским домом, даже забыть про него, а новое заветное место, куда во снах так давно рвалась душа, – уже найдено. Так чего же еще?

– Домой возвращаться к родителям...

Алешка упрямо продолжал отказываться понимать, хотя и так все было ясно, как божий день. Во рту вдруг враз пересохло, а язык едва двигался:

– А как же стихи? Как сценки, что я учил?... Дядя Василий? – Он вновь, но уже с силой дернул купца за «спасительный» палец. – Вот же он – я! Вот... А вот театр. – Он судорожно, как не умеющий плавать, скользнул взглядом по затянутым дорогим гобеленом стенам и, остановившись горячими глазами на равнодушном, замкнутом лице господина Туманова, уже совсем тихо, теряя последнюю уверенность, добавил: – А вот их главный.

В кабинете зависла тишина. Слышно было, как о стекло звонко несколько раз ударились муха и, нарезая виражи, взлетела под многорожковую люстру.

– И вам не жаль сего мальчика? Вы что же, гордитесь собой? – Злакоманов, не освобождая указательный палец из крепко державшей его ладони, припер чиновника мрачным взглядом.

– Детское горе скоротечное, сударь. Вот видите, – Туманов небрежно кивнул в сторону всхлипывающего мальчика, – он уже и замолчал.

– «Замолчал», говоришь? – Василий Саввич недобро скрежетнул зубом и, не спуская глаз с чиновника, процедил: – А ну-ка иди... погуляй, савояр, в коридоре... Картинки разные погляди... Мне б надобно с этим мудреным господином с глазу на глаз словцом перебраться...

Оставшись один на один, Злакоманов, не спрашивая разрешения, подошел к столу, брякнул граненой шишкой графина, плеснул в стакан кипяченой воды, выпил и грузно уселся в кресло напротив продолжавшего стоять чиновника.

– Ну-с, а теперича поговорим, любезный. Ох, руки мои старые, уставшие руки... – Купец как-то странно посмотрел на свои большие – волков душисть – мясистые ладони. – Да ты не стой каменной бабой, садись, братец... в ногах правды нет. Разговор у нас долгий будет. Как бишь тебя?...

– Григорий Никола...

– Сего довольно, – точно ножом отрезал Злакоманов. Грозно пошевелил усами и криво усмехнулся. – Григорий, значит... Гришка, что ли?

– Я бы попросил вас не «тыкать» мне, милостивый государь! – Шея и лицо Туманова покрылись красными пятнами. Ему страшно захотелось дотянуться до колокольца, который стоял у бронзовой чернильницы, и вызвать подмогу, но пугающее влияние больших волосатых рук посетителя было слишком велико. – Я попросил бы вас... – Придавая голосу меди, он еще раз попытался проявить себя, но был тут же осажен:

– А ты на меня с атаками не ходи! – рявкнул купец. – Просить будешь в судебной палате, Гриша. Ты сядь, сядь, любезный, и слушай сюда. Я ведь два раза, как господин Соколов, повторять не буду. Не привык! Вот так-то лучше, дружок, – опять ухмыльнулся Злакоманов, замечая, как мелкой сыпью дрожат кончики пальцев Туманова.

Об этом холеном хлыще, имевшем покровителя где-то в столице, Василий Саввич был прежде вельми наслышан. В театре его откровенно не жаловали: ни администрация, ни актеры. Каждый из этих людей своими жалобами добавлял что-нибудь к списку его надменных выходок. И Злакоманов, который любил крепкую, перченую шутку, будучи нынче в кабинете Туманова, решил припугнуть и «обуздать» его владельца. Было очевидно, что это ему удалось даже ярче, чем он ожидал. Василий Саввич – счастливый обладатель русской смекалки и удали, взял в толк сразу, что видом своим, манерами и громкою славою внушает этому гонористому подлецу страх. И живо решил использовать сие обстоятельство.

– Табачку-с гамбургского не желаешь, Гриша? – сыто набивая трубку, прищурился Туманов, между делом бросил купец. – Нет? Что ж, неволить не стану. А может, понюшку душа примет?

Меценат неожиданно вытащил из жилета плоскую малахитовую табакерку и покрутил ею перед угреватым носом чиновника.

– Нет уж, увольте. Не курю-с. Будет с меня и домашнего чиха. – Поправляя пенсне, Туманов всеми силами старался урезонить странного посетителя.

– У-уу, какие гор-рдые! А мы вот нет, – мрачно подмигнул ему Злакоманов и запалил трубку.

Канцелярист вздрогнул, нервно ерзнул в кресле – оно уже не казалось ему удобным и мягким. Вконец сбитый с толку речью нежданного визитера, Григорий Николаевич сделал отчаянную попытку подать голос.

– Послушайте вы! Довольно! Довольно морочить мне голову! Не ко времени всё! Разве забыли? Выпуск, равно как и набор, у нас производится только весной. Здесь вам не балаган, черт возьми! Я вас, конечно, уважаю, но, ежели у вас проблемы... ступайте в церковь!..

Вся эта тирада была выпалена на одной высокой, нервической ноте. При этом Туманов, как ни пытался, не в силах был оторвать взгляд от волосатых огромных рук, как и не мог унять галоп собственного сердца.

– Я еще раз повторяю, вакантных мест нет, господин Злакоманов. Прошу вас явиться весной.

– Ах, идет весна, надежды тают... – с печальным вздохом констатировал попечитель, при этом пальцы его сжались в кулаки, так что напряжились жилы. Однако усилием воли он удержал себя от преждевременного фонтана гнева. – Да знаю я все, знаю. Никто так не умеет жить, любезный, как мы не умеем. Ну-с, сделай одолжение, мил человек, устрой мальчика... по-хорошему прошу.

– Не могу-с, – по-прежнему сухо, без капли надежды прозвучал ответ.

Видя броню глухоты к своим настояниям, Василий Саввич зашел с другого боку:

– М-да, нынче люди топчут друг друга... Я тебя понимаю, Гриша, «не положено»... Да и ты... пойми, голубь. Я уж сел на коня... ехать мне надобно-с. Сам понимаешь, слово купеческо дал.

– И не хочу понимать! – Испуганные, но по-прежнему наглые глаза беспокойно забегали за стеклом окуляров. – Я буду жаловаться на вас губернатору.

– Ах, губернатору? Федору Лукичу? Ну, ну, – усмехнулся купец, вкусно затягиваясь трубкой.

– Да, именно... губернатору... – уже не так уверенно заявил Туманов и, вдруг набравшись смелости, закричал в голос: – Довольно! И слушать не желаю! Как вы смеете указывать мне и занимать время-а?! Вон из моего кабинета! Вон!

Василий Саввич от такого выпада на миг даже потерял дар речи. Уважаемый далеко за пределами Саратова человек, большой любитель искусства и меценат, не год и не два вершивший щедрые пожертвования на благо театра и города, имеющий абонированную на сезон представлений личную ложу, обласканный самим губернатором... такого вопиющего нахальства в свой адрес снести не мог.

– Да знаешь ли ты, кто пред тобой?!

– Если не ошибаюсь, Василий Саввич... – дрогло, но все с тем же язвительным ядом самоуверенности хлестнул ответ.

– Нет, сукин ты кот, ошибаешься... не знаешь. Злакоманов моя фамилия!

И тут Василий Саввич во всей красе стал разворачивать узоры своего живописного характера:

– Рожа ты подлая, моль бумажная! Морду тебе, сволочь, давно не били! Но я уже покажу тебе неглиже с отвагой, а-ля черт меня побери! Я к тебе, перхоть постная, пришел не как проситель! И мне плевать на твоих заступничков из столицы. Это Михаил Михайлович Соколов – душа человек, слово тебе сказать боится, а я тебе такой бланш, такую цацу под глаз поставлю! – век Злакоманова помнить будешь.

Меценат поднялся скалой и так бухнул кулаком по ясеновой столешнице, что все предметы: чернильницы и приборы, перья и пресс-папье, карандаши и бумаги – скакнули, будто живые, а вместе с ними и ошалевший Туманов. Подняв руки, словно защищаясь, он трепетал, не смея молвить и слова. А Злакоманов вдруг стих и через секунду-другую взорвался смехом.

– Эх, голубь, и бздун ты, как я погляжу! – сказал он сквозь слезы. – Да сядь ты... я ведь тебя, шкуру, еще и пальцем не тронул. Чудак ты, Гриша, ей-богу, чудак! – покачивая головой, хмыкнул в усы Злакоманов, видя, как по откормленному, ставшему серым лицу потекли струйки пота. – Ну-с, чего вы в лице изменившись, Григорий Николаевич? Чего-с замолчали, любезный? – прохаживаясь по кабинету, с ласковой угрозой продолжал Василий Саввич, покуда Туманов переводил дух. – Да ты zenки-то на меня не остробучь! Не сверкай ими. Плавали, знаем... не такое видали. Похоже, у тебя круговерть да туманы в башке от моих

забот. Я ведь, милый, один черть, свое согну. Ну, куды ты? Куды наострился? – Палец купца вновь, как капризному ребенку, погрозил Туманову: – Сиди, шельма, я с тобой еще побалакаю.

Злакоманов докурил трубку, выбил пепел и молвил:

– Я, знаете ли, Григорий Николаевич, денег в долг не даю-с. Ну нет у русского мужика почтения к деньгам, хоть тресни. Ему хоть тыщу, хоть рупь – один черть, все пропьет. У нас ведь как заведено: есть трудовая копейка, либо шальная, а нормальной, обычной, в понимании культурной Европы... шиш! Но ты, как я погляжу, Гриша, человек с понятием и образованием, а значит, не совсем болван, – купец уважительно причмокнул губами, – а потому буду говорить с тобой, как с мужчиной. Шальных денег у меня для спуска и забав нет. В банк играют токмо дураки да негодяи... Но вот для стоящего дела – найдутся...

Тут Василий Саввич заговорщицки поманил пальцем Туманова, сам тоже подался вперед и тихо, чуть не шепотом, рассудительно пояснил:

– Что делать, Гришенька? – взятка на Руси – вечная, как и воровство. Да тихо, тихо, голубь, не ершишь! В сем деле я толк-то знаю... Тут шуму не надобно-с, Гриша. Обжечься впору. Я ж не вчера родился, что ж, все понимаю... вишь, до седых волос дожил. Так сколь ты хочешь, братец? Мальца-то, Алешку Кречетова, один шут, определять придется... Ты токмо не горячись, смекай, уж не обидь Злакоманова.

При этих словах попечитель достал из нагрудного кармана долгополого сюртука беременный деньгами кошель, не глядя вытащил на щипок толстую пачку сотенных и стал бросать на стол по одной, словно прикармливая на пруду гуся хлебными крошками.

– Вы... вы с ума сошли! Как... смеете!.. – не сдерживаясь от возмущения, вскочил было Григорий Николаевич, но тут же тяжело опустился на место. Большой красный палец молча грозил ему, как ствол дуэльного пистолета. Туманов застонал от бессилия, поникнув плечами, а радужные сотни продолжали падать пред ним на стол, как осенние листья.

– Семьсот рублѐв, аки с куста, Гриша? Ужли мало? – пробасил Злакоманов, лукаво поглядывая на вконец ошалевшего чиновника. – Ну-с и жаден же ты до денег, друг. – Девятьсот... Девятьсот с полтиною... Тыш-ша!

– Хватит! – внезапно накрыв акцизной папкой деньги, глухо вырвалось из груди.

Глаза Туманова с плохо скрываемым беспокойством в обнимку с восторгом заматались по кабинету, точно его уже подловили на взятке.

– Вот это дело! – удовлетворенно качнул бородой купец. – Хватит так хватит. Тут поди ж то твое годовое жалованье. Наконец-то я слышу голос не мальчика, но мужа. Как говорится, не смотри на личность, а смотри на наличность. Ха-ха!

– Премного-с благодарен, Василий Саввич. Спешу высказать свое очарование вами, простите, недооценил: вы – золото.

– Так быстро стал? – Злакоманов приподнял бровь.

– Могли бы еще-с быстрее... Но все равно, с вами приятно-с иметь дело. – Растянув на лице улыбку, Туманов манерно провел ухоженной, похожей на женскую, рукой по зеленому сукну.

– Да уж, верно глаголют, что купола в России кроют золотом, чтобы было у Господа...

– Вот и делайте вывод, уважаемый. А кому, пардон, нынче легко? Только, прошу вас, не будем преувеличивать, Василий Саввич... Денежные раны не смертельны, особенно для вашего капитала, угу?

Туманов, зачарованно глядя на канцелярскую папку, под которой лежали деньги, хотел уже было привычно прибрать их в выдвинутый ящик стола, как чугунная пядь Злакоманова придавила протянутую руку.

– Э-э, нет! Погодь, голубь, тэк-с не пойдѐть... Уж больно прыткий ты... Изволь сначала дело сделать, а уж потом получить презент.

Григорий Николаевич слепил досадливую мину, однако без лишних слов: «Шутка ли? – тысяча рублей за чернила и подпись!» – нырнул пером и живенько принялся заполнять по артикулу положенный перед собою белый лист.

– Так как его?.. – На золоченом пенсне вспыхнул солнечный блик.

– Кречетов, Алексей... по батюшке Иванычем будет, – охотно откликнулся Злакоманов, вновь принимаясь заряжать трубку табачком.

– Ну-с... вот... и готово как будто... Прошу вас, Василий Саввич, взгляните... все чин по чину, все без обману. – Туманов, стараясь понравиться и еще пуще умиловить богатого посетителя, угодливо подал документ.

Меценат промахнул взглядом кудрявую шапку на имя господина директора Соколова и перешел с галопа на ступь, когда стал знакомиться с «постановлением» заседания комитета дирекции театра.

«...Ежели по освидетельствовании доктором и испытании способностей мещанина Алексея Кречетова оный окажется могущим быть принятым в театральное училище, – то об освобождении мещанина сего на законном основании из теперешнего состояния предоставляется Конторе Дирекции снести с кем следует, а между тем самого его принять с 1 наступающего марта в Театральную школу на все казенное содержание...»¹¹

Придирчиво изучив документ до конца, Злакоманов таки воткнул вопрос:

– Отчего же зачислить с первого марта, голубчик? Ведь на дворе лето стоит.

– Так положено, Василий Саввич. Иначе никак невозможно-с. Все задним числом-с... Осталось только на подпись директору... и печать поставить.

– Так какого беса?.. Не медли! У Злакоманова каждый час на рупь поставлен.

Туманов от Михаила Михайловича вернулся скоро, в приподнятом настроении, весь в упоительном предвкушении легких денег. Но когда он отдал копию договора попечителю и сунулся было забрать ассигнации, купец с плеча шибанул ему по пальцам.

– Ку-уды, сучонок, лапы тянешь?! Эт что, твои заработанные деньги?! Ах ты, шельмец! Рвач! Шкура драная! Ну, Гришка, я тебя выведу на чистую воду! Эй, люди-и! – пугающе выкатив глаза, гикнул по-ямщицки Злакоманов. Выходец из исконно русской семьи, где рождались цельные, крепкие телом и духом люди, он, как его отец, легко ломал пальцами рубли и рвал подковы. И сейчас, внезапно схватив висевшую на камине трехгранную кованую кочергу, он вмиг затянул ее на потной шее чиновника. – Так чьи это деньги, гнида? – не сбавляя взятой ноты, рыкнул купец.

– Ваш-ши... – насилу просипел полузадушенный ловкач.

– Ну-с, то-то, Гриша, наперед тебе наука... – Злакоманов, потемнев лицом, разогнул и бросил в камин загремевшую кочергу. – Ладнеть, живи покуда... огласке ходу не дам... Но ежели вздумаешь жалиться куда, стервец, или станешь «козу» мальцу делать... Тогда держись, Григорий Николаевич... вот этими руками лично с костями перемелю и позором на весь свет ослаблю. Усвоил?!

Вжавшись в кресло, с затравленным взглядом, Туманов с готовностью потряхнул щеками. Крепко проученный злакомановской «шуткой», он уже ничего не хотел.

Рассовывая по карманам деньги, Василий Саввич подмигнул:

– При ином раскладе да других речах я бы тебе и не такую колоду червонцев ссудил, Григорий Николаич... А нонче не обессудь, и пятака медного жаль. А ты еще говоришь, что на свете дураков нет. Дудки, братец, как видишь, есть. Без них жить было бы скушно. Засим прощай. Наше вам... с кисточкой.

На дорогу купец хлопнул дверью, будто хотел поставить новую, и был таков.

¹¹ Золотницкая Т. Мартынов. Л.: Искусство, 1988.

* * *

В пустынном коридоре, у высокого окна, на банкетке опекун усадил себе на колено Алешку, прижал по-отцовски к груди, успокоил:

– Вот и вся недолга, савояр. Поздравляю с почином. Зачислен, братец! А ты слезы лить – не дело! Сейчас Клим снесет твои вещи, куда прикажут, угол опять же определят тебе, кровать, и заживешь, понимаешь, другим на зависть. Эх, чтоб им всем повылазило! Ну-с, что молчишь, дурилка?

– Вы такой сильный, дядя Василий. Здорово вы его... – Алешка с доверительной благодарностью, как никогда прежде, посмотрел в темные глаза Злакоманова.

– А ты никак слышал? – Купец нахмурился.

– И видел... в замочную скважину, – округляя от восхищения глаза, выпалил Кречетов.

– Забудь, – недовольно буркнул в усы попечитель. – Непременно забудь. И чтобы ни-ни, никому, постиг?

Алешка, крепко краснея ушами, утвердительно кивнул головой.

– Слушай-ка. – Василий Саввич вдруг с самым серьезным, сосредоточенным видом заглянул в молодые карие глаза. – А ну, скажи мне, архаровец, токмо по совести, как есть на духу... Там, у тебя дома, мне привиделось... али ты и вправду мне язык показал?

У Алешки душа ушла в пятки. Плечи, которые держал купец, напряглись, одеревенели.

– Показал, – тихо пролепетал он и зарделся теперь уж не только ушами.

– Ну-т, ладнень, проехали. – Спасительный палец по-доброму погрозил сорванцу: – Гляди, братец, чтоб больше такого не было.

Глава 6

Театральное училище, в котором Кречетову суждено было прожить ни мало ни много шесть лет, оказалось не при самом театре, а неподалеку от пристани, куда кучер и сvez нехитрое добро Алексея. Злакоманов, выдав последние наставления и обещавшись «по случаю быть», укатил в экипаже, ободряюще помахав пару раз рукой. Алешка глядел ему вслед и, хотя оставался по-прежнему счастливым, из груди вырвался замирающий вздох, а в глазах появилась тоска, словно у потерявшегося кутенка. На ресницах сверкнули две крохотные росинки слез и остались там, побоявшись сорваться на щеки.

Поблескивающая на солнце лакированная коляска миновала зеленое облако каштановой аллеи и под крупный цокот тройки покатила дальше.

Мальчик, стоявший у черной чугунной ограды училища, не сводил с нее глаз. Он облизнул ставшие сухими губы кончиком языка, в горле вновь запершил предательский ком.

– Дядя Ва-ся-а! – хрипло, внезапно севшим голосом крикнул он.

Но дядя Вася, конечно, не услышал и не повернул головы. Его «савояр» еще долго следил, как экипаж бойко взбирается по отлогому склону, к зубчатой линии горизонта, образованной из городских крыш. Алешка трудил глаза до тех пор, пока коляска не скрылась из виду, перевалив за косогор. Тогда он отвернулся и медленно, точно спросонья, огляделся окрест.

– Ишь, какой павлин стоит, в рот меня чих-пых! А ну, пшел отсель, чаво ворон считаешь? Не вишь разве, двор мешаешь убирать!

Худой, как костьль, дворник, лет сорока пяти – сорока семи, с большущими щеткой усами, в барашковой шапке при медной бляхе, в длинном фартуке из рогожи, опираясь на такую же щуплую и жилистую, как он сам, метлу, недобро зыркнул на Алексея.

– Ну, куды, куды прешь, полоротый? Да открой глаза, в ухо меня чих-пых, под ноги-то взгляни! Там же подметено... У тя что?.. «Лирническая» чесотка души? Рифму, мать ее суку, вспоминаешь?

Опешивший от вылитого на него ушата трескотни, Алешка только и сумел в оправдание перепрыгнуть через высокую кучу мусора и кивнуть головой:

– Здрасьте, дядя.

– Эй, эй, погодь-ка, малый... Да не бойсь, подь сюды. Ответь... Ты ж где проживаешь? Не тут ли?

– Тут... с сегодняшнего дня, – еще оглядчиво, побаиваясь ворчливого, как цепной пес, дворника не вдруг ответил Кречетов.

– Ха, дуралей, так, стало быть, ты и есть тот самый новенький, в нос меня чих-пых, о коем даве сказывал «мастак»¹² мусьё Дарий! Так, что ли?

– Выходит, что так, – улыбнувшись задорно смеющемуся дворнику, пожал плечами Алексей.

– А я по первости думал, приبلудный ты. Их тут страсть, ширмачей-то с Соколовки¹³, с того же Затону шныряют. Так и норовят, стервецы, слямзить, что без хозяйского глаза лежить... али опять же «потешных»¹⁴ забидеть. Однако наши дружно стоят за своих. За так – зубы не дарют. Тьфу, заболтал я тебя, родной. Значить, наш будешь! Ты уж прощай меня, в рот меня чих-пых, матерника. Ругань у меня в языке, как, значит, болесть, вроде язык болит... Ну, будем знакомы – Егор. – Дворник протянул узловатую, с черными ногтями, мозолистую

¹² «Мастак» – прозвище преподавателей училища.

¹³ Соколовка – имеется в виду известная в г. Саратове Соколова гора, обрыв.

¹⁴ «Потешные» – прозвище учеников театрального училища.

руку. – А можешь просто Чих-Пых. Один хрен, тут все, от потешных до начальства, меня так кличут. А ты сам-то чей будешь? – Медная бляха на барашковой шапке съехала на затылок.

– Кречетов, Алексей. Младший сын мещанина Ивана Платоновича.

– Ну, вот и славно. Айда, сын мещанский, я тебя спроважу до дверей, – прислоняя метлу к ограде, с подозрительной неожиданностью вызвался Егор.

У каменных ступеней, что вели в одноэтажное деревянное, крашенное в желтую с белым краску, здание училища, провожатый задержал шаг, шоркнул ладонями по фартуку и, философски топорща усы, изрек неведомо куда в небо:

– Да-а, люди часто выдумывают себя и так... и сяк. Это факта серьезная. И все это от скуки, тоски и страху пред жистью! А ведь ее, суку проклятушую, прожить – не поле перейти... Знаешь ли... – Тут дворник споткнулся, почесал облупившийся от загара нос и с проныковенной задушевностью спросил: – Нет ли у тебя, родной, копеек для «зубных капель»? Сам понимаешь, жабры горят... страсть! Ты уж, милый, сколотись мне на лекарство! – Глаза дворника жалостливо, как у бездомного пса, тлели великой надеждой. От него так знакомо тянуло «водочным сквознячком». – Так что же, ссудишь маненько, а?

– Нет у меня, – честно, с сердечным пониманием глядя в глаза Егору, соврал Алешка, крепко сжимая в кармане мятый червонец отца.

– Ну, тоже мне, нашелся потешный... в ухо меня чих-пых!... – сокрушенно, ровно разбил драгоценную чекушку, охнул Егор. Еще минуту назад живое, веселое его лицо вмиг помрачнело, взялось морщинами, напоминая теперь скисший огурец. Участие, забота и доброта – куда все делось?... – Чо ж это тебя папаша так... собирал? Тыфу, еть твою черта душу... Один, что ли, живешь, при матери?

Не дожидаясь ответа, разбитые с латаным голенищем сапоги Чих-Пыха загремели к ограде, где его сиротливо дожидалась метла. И вскоре монотонное, широко-сердитое «ш-шурх, ш-ш-шурх, ш-ш-шурх» наполнило полдничную дрему театрального двора.

* * *

– Эй, малец, никак Чих-Пых у тебя деньги клянчил? Не вздумай давать, не отдаст. Он еще тот прохвост... Обычное дело. Егор нынче с похмелья, а впрочем, он дворник чинный, свою службу знает.

Алешка вздрогнул от неожиданности, крутнулся юлой. Перед ним на крыльце стоял худощавый, в коричневом сюртуке и таком же жилете, совершенно лысый, как бильярдный шар, служитель и с видимым интересом рассматривал новичка.

– Меня зовут Петр Александрович Гвоздев, я здесь заведу по хозяйству... – Выразительные навывкате глаза многозначительно задержались на богатой разнокалиберными ключами связке, которую он держал в руке. – Тебя, сказывали, зовут Кречетовым Алексеем. Что ж, пойдем, Кречетов, я покажу тебе дортуары¹⁵, сортир, умывальню, трапезную и выдам под запись постельное белье и одежду.

Алешка с недоумением глянул на лысого служителя, потом на свои, маменькой перешитые из отцовских брюки, которые с утра наутюжила Степанида, на подержанную, но еще куда как носкую гимназическую куртку Мити, что ладно сидела на нем, и снова на стоявшего перед ним господина.

– Ну что ты, право дело, смотришь, как новорожденный на попа? Отцовские панталоны на тебе такие старые, что ей-ей, рискуют стать снова модными. Ступай за мной.

Гвоздев больше не сказал ни слова, развернулся и ходко направился по коридору. В «бытовке» – просторной, но душной, пахнувшей нафталином и табаком, с длиннющими мно-

¹⁵ Дортуар – общая спальня воспитанников закрытого заведения (*фр.*).

гоярусными стеллажами, – Кречетову, как и всем остальным воспитанникам, выдали номерные бирки, казенную одежду: китайчатую куртку, брюки, балетные по размеру туфли, – затем повели в дортуар и велели размещаться, указав на кровать и ночной столик¹⁶.

Вернувшись назад после беглого осмотра училища, Петр Александрович деятельно разложил свой огромный grossбух, пододвинул чернила и подал Кречетову широкое гусиное перо: – Здесь распишись в получении.

Медленно, боясь допустить ошибку, старательно повторяя про себя слоги, Алексей вывел в указанной графе черной тушью свою фамилию. Крупные буквы упрямо ползли вверх, но Алешке понравилось, и он был очень обижен, когда Гвоздев, теряя терпение, обозвал его «никудышным щелкопером», при этом бросил довеском:

– Ох, и нацарапал! Чисто курица лапой... Ты вот что, малец, – запирая на два замка дверь бытовки, заострил внимание новичка Гвоздев. – Смена постельного белья – раз в две недели, свиданье с родными раз в месяц, ежели нет нареканий от воспитателей и мастаков. Баня и стирка по субботам... веники, мыло – все выдает на месте Федор. Он банщик у нас, дед такой без руки... в польскую потерял. Церковь, понятно, по воскресеньям. Выход в город по заслугам, словом, какие отметки получать станешь, школяр... Вот, пожалуй, и все. Да, гляди в оба за казенными вещами! Головой отвечаешь, – для порядка подпустил строгости Гвоздев. – Понял? Ну а теперь ступай к себе. Знакомься с товарищами, тут у нас, братец, единая семья. Главное, не дай забидеть себя по первости. А, и вот еще, – служитель поглядел на циферблат настенных часов, – через час и двадцать минут построение на ужин. Ну, будь здоров.

¹⁶ Золотницкая Т. Мартынов.

Глава 7

«Встреча» Кречетова была шумной. Обсвистать, быть при вручении ордера, как здесь называлась «прописка», да и просто поглазеть на вновь прибывшего новичка грачливой стаей слетелись все воспитанники. Правда, их было не так уж и много, не более тридцати человек. На летние каникулы более половины из них разбирались родными, кто уезжал из Саратова по уездам, кто по своим деревням. «Отбросники», которых не забирали, понятное дело, злились и откровенно завидовали им: недурно иметь два месяца полной волюшки, гуляй – не хочу, забыть про «балетки», зубрежку и прочие «па-де-зефиры». Счастливыцы возвращались только под август, оглохшие от дорожных бубенцов, медные от загара, веселые и обросшие, со щедрым запасом родительских сластей и солений, шматками копченого сала и рыбы и прочей, прочей вкуснятины.

– Эй, потешные! – разлетелся под потолок чей-то залиvistый голос. – Гляньте, новенький!

– Ух, зеленый какой! «Фофан» ему поставить на лоб или «сайкой» попотчевать?

– Эй, новенький! Сыграем в «очко»?

– Да он уж в штаны нафурил. Все молчит, как юбка. Эй, плакса! А может, ты и есть девчонка?

Вокруг Кречетова образовался кипучий затор. Баллы его душевного спокойствия вмиг поубавились. Растерявшись под обстрелом пятнадцати пар насмешливых, малодружелюбных глаз, скованный новой, не притершейся формой, он ощутил себя не в своей тарелке. Однако Алешка не заморгал ресницами и не дрогнул перед выкриком горластого рыжего заводилы: «Делай ему темную, братцы!» Напротив, большие глаза вдруг превратились в мстительные бойницы, приняв выражение дерзости и решимости. Правая рука бессознательно нырнула в карман, где помимо богатства – в виде червонца отца – лежал и прошлогодний подарок старшего брата – перочинный ножик. Вещица, по совести сказать, так себе: лезвие было коротким, шатким и крепко сточенным оселком прежнего хозяина. Но это был подарок Мити – непрерываемого авторитета для младшего брата.

– Ганька! У него нож!

Глазастая, одинаково мундирная толпа воспитанников подавилась криком и замерла в немой сцене. Затаив дыхание, все уставились на отчаявшегося новичка, волчонком смотревшего на них.

Загнанный в угол, он крепко сжимал зеленую костяшку рукоятки.

Рыжий, которого окликнули Ганькой, придержал свою прыть, ерзнул глазами туда-сюда, нервно закусил губу, стремительно оценивая сложившуюся ситуацию. Она складывалась не в его пользу. Приятели, даже из самых «закидливых» и «борзых», сейчас не рвались поддержать его. Взгляды всех без остатку были прикованы к зловеще мерцающей полоске стали, точно она была смертельно опасным, отравленным жалом.

– Ты чего?.. Чего вздумал? Во-о дурак! Шутки не понимаешь? – Желтые кошачьи глаза Ганьки впились в глаза Кречетова и не нашли для себя ничего, что сулило бы хоть какую-то зацепку. – А он с перцем, братцы, наш новенький, – небрежно заправив руки в карманы форменных брюк, для солидности шворкнул носом рыжий. Бодряще чиркнул ниткой слюны в кадку с фикусом и прошелся гоголем вдоль шеренги кроватей, но все увидели и прекрасно осознали, что Ганька Чибышев – известный задира и оторва училища – дрогнул перед решимостью новичка.

На этом «прописка» закончилась и «вручение ордера» произошло; маменькины гостинцы были тут же расхвачены, уничтожены и склеваны до последней крошки, но тем живее для Алешки состоялось посвящение в актерское братство и новую жизнь. Потешные напере-

бой втолковывали распорядок, называли изучаемые предметы, давали меткие характеристики мастакам, сообщали их клички, при этом взахлеб уточняли: кто закладывает за воротник, кто бьет указкой, а кто предпочитает розги либо горох¹⁷, словом, кого надо бояться, у кого на уроках можно ваньку валять, а у кого интересно. Изображали и пародировали они своих педагогов столь весело и забавно, что Алексей, забыв о недавней «прописке», легко сошелся с товарищами, хохотал до упаду вместе со всеми, почувствовав себя наконец в родной стихии¹⁸.

Много еще трепотни и забавных историй успело ухватить ухо Кречетова: и о воспитанниках театрального училища, квартировавших в отдельном корпусе, и об амурных записках, похождениях и вздохах старших учащихся, и о статских и военных, что прогулочным шагом или, напротив, верхами, постоянно фланировали и гарцевали по набережной перед окнами юных прелестниц. Однако истории этого ракурса для сердца Алешки покуда прошли стороной.

После ужина, который Кречетов нашел невнятным, но сносным, воспитанникам было дано два часа на отдых. Юнцы занимались разным: кто писал письма, кто колол пальцы иглой, подшивая воротничок, кто просто валялся на кровати с книгой и болтал с товарищем...

– По осени, как начнутся занятия в полный рост, об этих летних часах «балды» забудь, Кречетов, – с разделенным сочувствием однопольчанина по судьбе, вздохнул сосед по комнате Юрка Борцов. – Замордуют каллиграфией, арифметикой или законом Божиим... Эх, как жрать-то, однако, хочется, ровно зверь в животе... Вроде как и не ел вовсе. – Борцов колупнул носком казенной туфли навошенную половицу, хлопнул себя по животу и протянул с тоскою: – В тебе-то еще мамкины заедки гуляют... вот погоди... и у тебя «зверь» заведется. А все же славные были пирожки с печенкой... – через паузу мечтательно заявил Юрка. – Жаль только, что мне половинка досталась. Петров – свинья, все ему мало. Вторую половину вырвал! Чтoб ему пусто стало!

– А разве тебе маменька не привозит гостинцы на встречи?

– Моя мать вместе с отцом и бабкой померли от тифа три года назад, – глухо, по-взрослому прозвучал ответ. – Да и деревня наша Грачевка за триста верст отсель будет. Не наездишься.

Сосед угрюмо замкнулся, закинув руки за голову, а Алексей в тайниках души премного поблагодарил Господа и Царицу Небесную, что его-то родная маменька еще куда как крепка и проживает не где-нибудь у черта за пазухой, а у светлого Троицкого собора в Саратове.

Впрочем, если уж говорить об аппетитах Кречетова, то ел он совсем немного вовсе не потому, что был избалован деликатесами или его не дразнил запах наваристых щей и румяных оладий с вареньем. Не будучи по природе спокойным наблюдателем, он вечно без оглядки совал свой нос в окружающую жизнь, и у него не было времени возиться с подобным занудством. Если можно было бы не жевать, а глотать, как утка, то Алешка, без сомнения, так бы и делал. Ох уж как он маялся да томился, болтая ногами под столом, когда распаренная и красная, что свекла, от печного жара кухарка ублажала его золотистыми блинами и кашей!

– Ешь, касатик, ешь на радость мне и родителям, – любила приговаривать Фекла, колыхая своей обширной грудью, подкладывая на тарелку горячие, как огонь, блины. – Давай еще, мой гусарик, с жару, с пылу! Ой, объеденье! – тепло, по-волжски на старое «о», мурлыкала она, ловко и расторопно расторкивая и гоняя масло гусиным крылом сразу по двум сковородкам. – Блин красен и горяч, что наше солнышко. Он, милай ты мой, знаменье добрых дней, богатых урожаев, ладных свадеб и здоровых деток. Ну что ты шарманку опять завел: «Хватит да хватит!» Вон Митенька – славный работник... поел так поел от пуза, а ты все как тот нерадивый... ох, горюшко луковое, ох, беда нам с тобой...

¹⁷ Горох – провинившегося воспитанника учителя часто наказывали, ставя голыми коленями на рассыпанный по полу сухой горох.

¹⁸ *Золотницкая Т. Мартынов.*

И Алешка вынужден был давиться еще одним Феклиным блином, политым топленым маслом или с закладкой из творога. Но не будь на него ревнивого глаза няньки, уж он бы обвел вокруг пальца и маменьку, и отца, бросив в окно на радость Жуку всю выпечку: «Надолго ль собаке масляный блин?»

Однако сейчас, сидя на кровати возле ночного столика, Алешка ерошил волнистые волосы и ломал голову над словами Борцова. И, право дело, в глубинах его души шевельнулось сомнение: «А может, надо было поесть?»

* * *

В десять часов, после молитвы, на манер военных училищ, случилась от веку заведенная вечерняя поверка. Дежурный служитель корпуса господин Сухотин (среди потешных – Сухарь) педантично, гнусавым голосом зачитывал вслух фамилии воспитанников и строго проверял последних «на предмет присутствия». Впервые в реестровом журнале была зачитана и фамилия Кречетова. «Я!» – громко, следуя примеру остальных, выпучив от ответственности глаза, гаркнул во все горло Алексей и физически ощутил, как покраснел от удовольствия, как горячим теплом причастности к действию что-то большое и значимое расплылось в его груди. Затем всех отправили в умывальни, где наскоро, холодной колодезной водой можно было сполоснуть руки и ноги, почистить зубы и справить нужду. Позже, все так же гуртом, воспитанников развели по спальным палатам, рассчитанным на трех человек. Иван Демидович Сухотин в сопровождении двух пожилых служек-сторожей ревниво проследил, чтоб в комнатах затушили свечи, оставив гореть на ночь лишь лампадки, и, пожелав всем «доброго сна», удалился к себе – в дежурку.

Кровать Алешке досталась вторая от окна. Первую занимал Сашка Гусарь, смазливый и тихий, рассудительный хохол, выходец из Полтавы. Слева вежливо выводил хриловатую трель Борцов. Временами, ворочаясь на своей постели, он прерывисто, по-собачьи, подскуливал, дергал, словно оступался куда, ногами и громко, со странной настойчивостью, бормотал: «Я не брал... я не брал... да пошел ты...»

Алексей понимал: нужно заставить себя уснуть. «Сухарь зазвенит чертовым колокольцем ни свет ни заря... в семь утра», – вспомнилось недовольное бурчание Юрки. Но спать – хоть убей – не хотелось. Кречетов лежал на спине и тупо глазел на стену, где в мягком свете лампадки отчетливо, будто вырезанные из фетра, стояли неподвижные тени: абажур с кистями и уродливо вытянутый угол громоздкого платяного шкафа. В голове непоседами-пчелами роились картинки прожитого большого, долгого дня. Вот, увесисто ступая, скрипя половицами, по-хозяйски прошел Василий Саввич, улыбнулся Алешке и прогудел свое вечное: «Ужо я тебе, савояр... Ты ли дразнил меня языком?» На смену ему из зыбкой, причудливой тьмы выплыла маменька – усталое, в родных морщинках, лицо и такое же теплое, нежное: «...И знай, что мы любим, очень любим тебя... я буду навещать тебя, милый! Ох как жалко, что Митя в гимназии!» Вспомнились четко, до мелочей, и пахнущая селедкой рука отца, и измятый червонец, сунутый ему в руку, вспомнился и хромоу утиный шаг Степаниды, близкие слезы и душные поцелуи с объятиями на дороге, и преданный Жук, рвущийся на цепи, с которым он так и не успел попрощаться... Память выхватила из тьмы и давно ушедших из жизни бабушек Полю и Асю. Обе любимые, обе душевные, ласковые и теплые, как русская печь. В растроганной душе Алешки что-то как будто надломилось. Он хмуро задвигал бровями и скосил с глаз накатившую слезу вместе с внезапным, охватившим его ужасным открытием: «Господи, неужели и я?.. Я, Алексей, непременно тоже умру? Когда-нибудь, но обязательно!..»

– Эй, эй, ты чего, Кречетов? – Сашка Гусарь тормозил его за плечо. – Приснилось что? Мне тоже не спится.

– Нет, – отмахнулся Алешка и снова замолк, натягивая на себя колючее одеяло.

– Лихо ты Ганьку... Чибыша нашего нынче приструнил, – от окна снова слышался горячий, уважительный голос. – Лихо! Я тебя сразу признал... Покажешь завтра свой режим?

За дверью, в тускло освещенном коридоре, тихо щелкнул и металлическим сверчком затрещал механизм, на миг все стихло, затем большие напольные часы вязко и чинно отбили: час, два, три.

– Эй, Кречет! Не спишь? – через глубокую паузу шепотом спросил Гусарь. – А ты видел, как наши играют в театре?

Алешка хотел что-то ответить приятелю, но не успел. Воздушное крыло Морфея накрыло его с головой, и он отдался сну с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки.

Часть 2. «Потешка»

Глава 1

Минуло три года. Алексею исполнилось пятнадцать. Это был уже далеко не тот хрупкий и тихий мальчик, которого некогда привел за руку в дирекцию театра купец Злакоманов. Безмятежное детство осталось где-то там, далеко за порогом учебных классов. Из того затянутого дымкой времени в Кречетове осталась лишь неумная тяга к знаниям, ко всему новому, к совершенству. Природная впечатлительность продолжала будить фантазию. Друзья-сверстники тянулись к нему. Алексей, не проходило и дня, выдумывал что-то веселое, необычное, яркое. «Шутихи», смелый, нестандартный рисунок грима на лице, костюмирования случались столь неожиданно дерзкими по замыслу, что смешили окружающих до колик. К тому же Кречетов награждал своих «ряженных» героев самыми невероятными прозвищами, которые рождались в его голове легко, точно по мановению дирижерского взмаха. Прозвища с легкой руки он раздавал и своим близким приятелям, от которых потом те долго не могли отряхнуться.

Ровно в восемь – часы сверяй – у чугунной ограды раздался до тошноты всем знакомый скрип колес и характерное дребезжание пролетки, прозванной «эгоисткой» в народе. Минутой позже послышался осипший голос Чих-Пыха, утреннее приветствие и твердо-сухое: «Иди, иди. Егор! Уволь, не дыши на меня!»

– Дарий! Дарий пожаловал! Стройся, потешные!

Юнцы послетали птицами с насиженных мест, стремительно выстроились парами и застыли. На лицах воспитанников проступил глубокий чекан почтения, страха и уважения. Как и три года назад, общий трепет – перед грозой училища – по старинке наполнил Алексея.

Двери балетного класса шумно и широко разлетелись, и в бобровой шубе нараспашку, в высоком цилиндре, с упругим английским стеклом в руке – вечным «жезлом муштры» – порывисто вошел месье Дарий. По заведенному правилу он с придирчивой цепкостью оглядел вытянувшихся в струнку и почтительно кланявшихся ему учеников. Нынче, Бог миловал, обошлось без форменного «разгону»: как видно, маэстро был в духе и встал поутру с той ноги...

– Гнусное зрелище, Петров! Стыдно-с! А ну, подтянуть живот! Подбородочек выше! Срам! На вас, ветрогонов, весь Саратов смотрит, а вы?.. Позорить училище вздумали? Меня-а? – Месье Дарий остановился возле Петрова, склонил по-сорочьи голову, заглянул в потемневшие от страха глаза и пару раз звонко щелкнул его стеклом по лбу.

В шеренге воспитанников ехидно прыснули, но Дарий как будто и не слышал.

– Дурак ты, Петров! Дураком и помрешь. Ты должен глядеть соколом и ходить женихом. Помните, вы – воспитанники третьего курса! Не за горами вас ожидает ее величество сцена! А вы-ы?! Знайте, глупые головы, муза брезглива и отворачивается от тех, кто ее предает. Вам следует зарубить на носу, что актер полжизни служит на имя и лишь затем имя служит на него! А ты что открыл рот, Жадько, точно прихлебываешь чай у тетки на Сочельник? – Стекло хлопнуло по плечу только что хохотнувшего над приятелем пересмешильника. – Я спрашиваю, кто разрешил тебе его открывать? – въедливо повторил, растягивая слова, маэстро. – Или ты уже возомнил себя великим, мой друг?.. Так знай, болван, известный – это тот, кто думает, что он знаменитый. Знаменитый – это тот, кто полагает, что он великий. Великий – это тот, кто вообще об этом не думает. Уразумел?

– Да, месье.

– А теперь подумай, кто ты.

Утренняя ложка традиционной дидактики была роздана, все облегченно вздохнули, а месье Дарий легко, как юноша, словно ему и не было сорока пяти, сбросил с плеч тяжелую шубу на руки подбежавшего дежурного и лаконично объявил:

– Разогреваемся у палки¹⁹, начинаем с плие²⁰, затем батманы и рон-де-жамбы. За репетитора нынче Кречетов. Я буду чуть позже. Продолжаете вчерашний урок – первый час посвящен экзерсису. Кречетов! – Маэстро задержал острый взгляд на Алексее. – Прошу, голубчик, перволеток ни в коем разе не жалеть! Мне нужен горячий материал, а не холодная глина. Все понял, голубчик? Тогда прошу!

Игриво, как римский сатир, покачивая стеком, гроза училища пересек зал и удалился в дирекцию испить чаю и перекинуться словом с начальством. Стройные воспитанники вновь, как «цветы-бутоны», склонили в почтении головы.

* * *

– Выше, выше. Тянем подъем! Не забываем носок! Спина прямая! Опять опускаешь локти! Поднять, поднять, не ленись... Колено! Правое колено подтяни... вот, вот молодец... И раз, и два... Не проваливаем грудь... носочек тянем, не забываем о нем... Локти, локти опять «поехали»... И р-раз, и два, и три... Так, так, хорошо, продолжай...

Алексей отошел от стареющего из всех силенок малыша, что восторженными и пугливыми, черными, как спелая смородина, глазами смотрел на него. «Ах, бескрылые малявки», «микробы», – при взгляде на дрожащие напряжением шеи, вспомнились «дразнилки» Гусаря. Именно так их самих еще три года назад не зло, но метко обзывали смотревшие свысока старшие. У Кречетова отозвалось сердце: столь трогательны первогодки, забавны в своей неуклюжести, полудетской наивной длиннорукости и голенастости...

На память сами собой пришли акварели воспоминаний первых дней, проведенных в сих стенах. Вспомнилась и печальная история о прошлом его наставника – месье Дария, – что жила в Саратове...

В те годы первостатейной задачей театра, а значит, и училища, ставилось воспитание балетных танцоров. Благо для этого Саратов располагал достойным куратором – месье Дарием. Энергичный уроженец солнечной Бессарабии, ученик великого Дидло²¹, подлинный фанатик своего дела, он как никто другой прекрасно справлялся с данной задачей. Прежде маэстро блистал на Москве, снимал несколько комнат в доходном доме на Охотном Ряду и держал прислугу. Обладая феерическим талантом от Бога и незаурядным багажом утонченных манер, он был быстро замечен и обласкан вниманием света. Молодое дарование, как рождественское украшение, как дорогую игрушку, приглашали на званые обеды и вечера, да и в другое время он был желанен, а более вхож в известные дома самых старинных фамилий Москвы. «Э-э голубь, коренная-то русская аристократия, настоящая, не в Северной, золотушной Пальмире, а у нас в Москве! Тут, братец, нос держи по ветру – лови случай! Только тут и живут, и томятся ожиданием славной партии девицы из лучших дворянских родов...» – не раз приходилось ему слышать чванливую похвалу заносчивых москвичей.

Но судьба неожиданно-негаданно сыграла жестокую шутку с ним – танцор порвал связку на левой ноге, и... безнадежно. Шло время. Недавний кумир Москвы впал в крупные долги. Огромные деньги, отданные на лечение лучшим профессорам обеих столиц, оказались брошенными на ветер. Многие светила хирургии после тщательного осмотра травмы наотрез отка-

¹⁹ Старое название балетного станка.

²⁰ Приседание (*фр.*).

²¹ Дидло Шарль-Луи (1767–1837) – французский артист, балетмейстер и педагог, в 1801–1829 гг. работавший в Петербурге и поднявший русский балет.

зывались братья за операцию. Другие – более охочие до серебра – подолгу мялись... Кто соглашался, кто нет, но ни один так и не пообещал, что когда-нибудь маэстро вновь выйдет на сцену.

Дальнейшая проволочка грозила неверным срастанием связок, искривлением ноги и пожизненной хромотой. И настал день, когда мсье Дарий, лежа на тахте, со странной откровенностью посмотрел профессору Розину-Каменецкому прямо в глаза.

– Обо мне вы не думаете, Леонард Матвеевич, – спокойно и просто, как безразличную правду, сказал он. – Что вам моя карьера?

Пожилой, откровенно седой профессор, сидевший рядом на стуле, хранил глубокое молчание. Заложив руку за борт своего черного, торжественно-траурного сюртука, он поник головой и почтительно молчал, точно любое сказанное им слово могло разрушить, разбить словно сотканное из стекла доверие между ними. В стгущающейся мгле промозглых осенних сумерек между ними, такими разными в возрасте, профессиях и мыслях, случился короткий, но значимый разговор:

– Да понимаете ли вы, черствый рационалист, привыкший своим ножом лишь резать и отсекал, как мясник!.. что для меня – актера – сцена?! – Нечто пугающее, фатальное пауком пробежало по скулам Дария. – Это... это все, профессор!.. Это моя жизнь... И ежели меня лишит возможности танцевать... – Он с лихорадочной обреченностью посмотрел в серьезные, в оправе глубоких морщин, глаза хирурга и... вдруг сцепил челюсти, откинулся на парчовые подушки, устремив свой горячечный взор в равнодушную гипсовую лепнину потолка.

Леонард Матвеевич покачал головой, скорбно вздохнул, крепче сжал пальцы на затертой кожаной ручке докторского саквояжа, стоявшего на коленях.

Оба молчали, каждый глядя в свою сторону, по-разному понимая жизнь. Их души радовались, печалились и рыдали не в унисон, но жило и что-то другое в их сути, что, напротив, спаивало их сердца и засыпало глубокий ров, коий отделяет человека от человека и делает его столь одиноким, несчастным и сирым.

Профессор бессознательным движением накрыл ладонью холодные длинные пальцы пациента, и рука последнего так же невольно откликнулась дроглым вниманием.

– Вы полагаете, как и все остальные, что я... никогда уже не смогу...

При иных обстоятельствах Розин-Каменский ответил бы мягким, но категоричным докторским «да», но в эту минуту против его воли, против разумной формальной логики прозвучал иной ответ, и морщинистые, полные губы сказали заведомую ложь.

– Ну что вы, mon cher...²² Отнюдь не так... У нас с вами есть еще шанс... и мы поборемся, видит Бог, надо лишь верить, не падать духом и уповать на милость Всевышнего.

– Бросьте вашу щадящую этику. Вы же врете сами себе, профессор.

Леонард Матвеевич виновато улыбнулся, неопределенно пожал плечами. И вновь в комнате взялась тишина, слышно было, как за окном частила капель и гремели колесами экипажи.

– А вам когда-нибудь мечталось, профессор? Нет, лучше: снятся ли сны? – задумчиво, все так же продолжая глядеть в потолок, неожиданно поинтересовался Дарий.

– Сны? – Доктор удивленно наморщил лоб.

– Да, сны. Черно-белые или цветные?

– Хм, весьма редко, знаете ли... весьма... Все осталось где-то там, в молодости... – тепло, с некоторым сожалением улыбнулся глазами старик.

– А я... последний месяц... каждую ночь. Цветные, яркие, до мелочей. Чудные бывают сны, профессор. Вижу как наяву, как вас, ей-богу... вижу все: что любил, чем страдал, ради чего жил...

²² Мой дорогой (*фр.*).

Больной опять замолчал, а Леонард Матвеевич ощутил, как встрепенулись и задрожали холодные пальцы, все еще лежавшие под его ладонью. Они задрожали отчетливее, и чуткое затишье сумеречья вдруг наполнилось жалобным звуком подавляемого плача.

Доктор нервно дернул щекой и сморгнул набежавшие слезы. Бережно он убрал свою руку и потер чисто выбритый цирюльником подбородок. Розину-Каменецкому было за шестьдесят, но он так и не привык за свою практику лицезреть, как плачут взрослые, полные сил люди.

– Господи, за что меня так?! В двадцать пять лет?.. За что?.. – пряча по-детски лицо в подушки, рыдал актер.

– Полно вам, полно, *mon cher*! Будьте мужчиной! – малоубедительно строжился Леонард Матвеевич. – Вы, вы... ну-с, право, совсем как дитя.

– Простите... профессор, не буду, – хрипло и рвано прозвучал ответ. – Чего уж там... все кончено... зачем?

Операция прошла на редкость удачно. Розин-Каменский превзошел себя. Месяе Дарий благополучно избежал искривления ноги, а благодаря своей воле, усиленным тренировкам – и хромоты. Однако о сцене говорить не приходилось. Все антрепренеры на Москве точно сговорились и отвечали либо сочувственным, либо суровым «нет», что, впрочем, разницы не имело. Куда вдруг подевались покровители, сильные мира сего, эти истинные, столбовые дворяне, которыми так кичилась Москва в противу Петербургу, которые еще вчера настойчиво слали через посыльных велеречивые приглашения и цветы?.. Все кончилось в одночасье: негласный вердикт был вынесен – блестящий танцор, стремительно, как комета, покоровивший небосвод Мельпомены, сгорел для нее, а значит, и стал безразличен. Москва слезам не верит, о чопорном Петербурге и думать не стоило...

Тем не менее хотя обе столицы пребывали в равнодушно-надменной дреме, но провинциальные театры наперебой зазывали прославленного маэстро. После мучительных колебаний, взвесив все «за» и «против», в один из пасмурных зимних дней месяе Дарий незаметно для окружающих съехал с Охотного Ряда, и бубенцы его тройки одиноко погромкивали в далеком пути, нарушая застуженную вечность приволжских просторов.

Много еще сплетен и слухов хаживало об этом человеке в стенах училища и гримерках театра. Сказывали, будто он хладен, как лед, и вовсе не замечает дам, оживляется только с танцмейстерами, не терпит бывать на балах и званых обедах, а главное, по ночам, уединившись в своей казенной холостяцкой квартире на Дворянской улице, где нет никого, кроме старого француза-слуги, пьет в одиночку горькую, а то и курит кальян, заправленный турецким гашишем.

Но не эти маловероятные, во многом завистью надуманные скабрзные истории трогали и заставляли волноваться память Алексея, а тот воистину каторжный труд, то святое, как правило, бескорыстное служение искусству и та суровая, требовательная любовь к своим питомцам, которую изо дня в день, из года в год маэстро дарил своим ученикам. Эти каждодневные экзерсисы виделись бы исключительно мукой и зарождали в юных душах опасную тоску, если бы их воспитатели не были столь вкрадчиво терпеливы и столь серьезно внимательны.

И сейчас, глядя на перволюток, на этих «щенят о пяти ногах», как весело нарекали сей возраст сами мастаки и старшие потешные, наблюдая за той особой старательностью, с какой те тянут ножку и держат локоть, прикусывая от напряжения губы, – Кречетов не удержался от счастливой улыбки. «Давно ли и я... вот так?..» – помогая светлоголовому юнцу грамотно выполнить гран батман, рассуждал он.

Ему вдруг остро вспомнился тот уже давно привычный, особенный запах класса, куда его некогда препроводил Иван Демидович Сухотин, оставив новичка один на один с маэстро. Всех принятых в училище прежде всего рассматривали через призму пригодности к балету.

– О, краски стыдливого отрочества? Знакомо, знакомо... – отрывисто и четко сказал репетитор, уставившись на взявшегося, что снегирь, багрянцем Алешку. – А ну пройдишь.

Отбрось страхи. Так, славно. Теперь встань у палки. – Месье Дарий кивнул на привинченный к огромной зеркальной стене буковый упругий брус. – Хм, какой ты олененок, право! Длинные ресницы, как у девицы, глаза – сырой бархат... Да ты просто красавчик, Кречетов.

Балетмейстер, ритмично постукивая себя стеклом по икре, легко и поразительно плавно, чем немало покорила тогда Алешку, подошел к нему. Бледное, странно переменчивое лицо склонилось к обмершему от страха ученику. Светлые, с бликом металла глаза еще раз с макушки до пят придирчиво оглядели мальчика. Сильными, по-обезьяньи цепкими пальцами Дарий ощупал его колени, плечи, мышцы рук и ног, проверяя их на вес и неожиданно резко разворачивая в стороны.

– Это театр, дружок, храм искусства! Здесь много вопросов не задают: либо ты годен... и с тобой есть смысл повозиться, либо ступай за дверь. Ну-ка, подними руку. Плавнее, плавнее! Что ты окостыжился? Не будь деревяшкой. Пальчики, пальчики должны быть собраны... Вот, вот, молодец... А теперь поднимем поочередно ноги. Вот, вот, тянем, тянем лапочки, как та кошка... Не будь лентяем! Еще, еще... так... так... Хм, однако, дружок, однако...

Маэстро, остро выбрасывая в стороны легкие, по-балетному выворотные ноги, прошелся туда-сюда, точно исполнил пляску святого Витта. Мальчишка был излишне хрупок, но зато пропорционально и ладно скроен. В нем, ей-ей, угадывался послушный, качественный материал. И месье Дарий, положительно довольный первичным осмотром, неожиданно заявил при вновь объявившемся слуге:

– Знаешь ли, Демидыч, а ведь из этого козленка... при доброй дрессуре, я полагаю, может выйти второй Дарий, а то и Дидло!

Не говоря больше ни слова, уже весь в своих мыслях и планах, маэстро стремительно, на этот раз по-военному жестко ставя каблук, покинул зал. Добряк Сухотин – напротив, не скрывая своего изумления, расплылся в улыбке, подмигнул малышу и ласково пригласил его вихры.

– Эх, дурень... да ты хоть догадываешься, кто тебя сейчас похвалил? То-то, что нет, микроб ты этакий! Сам месье Дарий – бывший солист и премьер московского театра Его Императорского Величества! О как! Гордись... не посрами надежу.

И то правда: такая похвала из уст маститого, известного на всю Россию маэстро, пусть даже и бывшего, – дело неслыханное. Однако Алешка этому обстоятельству радовался мало: душа его мечтала о драматической игре и решительно ни о каких танцах. В свои двенадцать он смутно, весьма приблизительно мог представить, что вообще такое есть балет. Но, конечно, никто: ни Чих-Пых, ни Сухарь, ни Гвоздев, ни все другие не собирались входить в его положение, а сам он не смел выразить свое недовольство, да, откровенно, не знал и кому. «Ну, разве только господину Туманову или заступнику Злакоманову... – укрывшись с головой одеялом, после отбоя гадал Алешка. – Так первый теперь мой враг по жизни, чтоб его вспучило... А второй далече... и бог ведает, когда еще навестит».

Глава 2

– Да, господа, наш месье Дарий, бьюсь об заклад, как никто другой умеет очистить зерна от плевел! Просеять, так сказать, золотники... Разглядеть в еще не оперившихся птенцах могучих орлов, будущих танцовщиков, кои всенепременно составят громкую славу русского балета!

– Кто спорит, ваше сиятельство? Истинно так, как и то, что сей молдаванин-цыган, как никто другой, жилы вытянет из отрока, а добьется искомого, своего! Аха-ха-ха! Аха-ха-а! Вот затайник!

– Вот чародей!

Так спорили и смеялись, критиковали и восхищались, ссорились и мирились, и снова спорили, и снова пили за здоровье балета заядлые театралы Саратова.

Дарий был воистину неистощимый фантазер; глубоко восприняв заветы своего великого учителя Дидло, он сохранил верность и преданность делу мастера. Все потешные были свидетелями его титанического, едва ли не круглосуточного труда. В голове маэстро бесконечно строились, разворачивались в марше все новые и новые замыслы балетов. Подобно творцу Ренессанса, он, будучи иной раз не удовлетворен работой композитора, сам срывал крышку рояля и сочинял музыку, писал клавиры, вдохновенно брался за эскизы декораций, ругался в пух и прах с бутафорами, тут же чертил, объяснял, придумывал костюмы, различные технические приспособы и собственно сами сложные, нестандартные трюки. Месье Дарий стремился свести воедино слагаемые танцевального действия и сделать это художественное единство доходчивым, выразительным и осмысленным.

Уже с первого года занятий мастаки раз-два в неделю вывозили воспитанников в театр для участия в массовках, натаскивали их на простенькие роли, развивали память учеников, нещадно заставляя последних зубрить «вестовые» куски текстов и слаженно, «в ногу» работать с суфлером. Драматические спектакли, случалось, затягивались из-за незнания актерами ролей, их подсказывал суфлер едва ли не в полный голос.

Такие дневные выезды в театр были сродни подарку, празднику или «вольной», как назывались отпуска в город. Тогда ломался заведенный распорядок дня, и дирекцией училища отменялись все строгости режима. «Фаворники», или «леденцы» – занятые в действиях – имели право сверх меры «давить на массу», когда другие уже хмуро заправляли постели; более того, задействованные в спектаклях получали на завтрак резервную кружку горячего сбитня²³ и трехкопеечную булку с маком, которые, впрочем, весьма редко доходили до рта перволютков, потому как всегда отнимались старшими.

– На целый год, до нового приема, готовься в лакеях шмыгать у стариков, – откровенно поделились своим горем Алешке приятели-перволетки. – И сапоги им ваксить, и постель застилать, и за кипятком на кухню лётать придется... А коли начнешь перья ерошить да клюв разевать – оциплут, как петуха, и вот крест, будешь бит... Так-то, Кречет, мотай на ус.

Чаша эта, конечно, не обошла стороной Алешку Кречетова. «Шмыгал» он на побегушках вместе с другими, как конек-горбунок, на пример трактирным мальчикам-шестеркам. В «потешке» среди воспитанников все было заведено на манер кабака. Были и свои «белорубашечники», и «половые», и «шестерки».

– Откуда такое прозвание? – задавал вопрос Кречетов.

И получал резонный ответ от соседей:

– А потому, брат, что «шестерки» служат и тузам, и королям... И всякий валет им приказывать горазд. Однако держи в уме: козырная шестерка туза бьет! Да и не век нам в лакеях шмыгать... Придет наше времечко, через годок отыграемся...

²³ Сбитень – горячий медовый напиток.

«Так-то оно так, – итожил Алешка, а на душе скребли чертовы кошки. – Покуда “шестерка” в дамки выйдет, станет ли козырной, много ей соли хлебнуть придется».

Сколько часов после отбоя носились первогодки с кухни на кухню, из бытовки в сушилку, никто не считал. Да если и взяться, вряд ли учесть возможно. Случалось мелким штопать, ваксировать и стирать до зари, а там уж пожалуйста в классы, где мастаки с указками и розгами. Попробуй не сдать урок – педагогические меры воздействия были куда как просты... Учитель, давно привыкнув, что если вместо толкового ответа «мекала» да «блекала» бестолковая чушь, тут же прекращал добиваться ответа и спокойно предлагал выбор: либо удары аршинной линейкой по рукам, либо лишение обеда. Первогодок уже после первого месяца учебы, как пить дать, протягивал руки и получал свою пайку ударов, только чтобы сохранить за собой обед. «Оно и понятно, где нашему братцу-савраске еще и без еды выдюжить? Сдохнешь на экзерсисах, и “а-ля-улю” – накрылась твоя учеба медным тазом».

– Оно вдвойне обидно, потешные, – по ночам плакались в минуты отчаянья перволетки друг другу, нафабривая на «свиданку» иль на «вольную» голубой вицмундир «старика». – В трактире наши погодки хоть антерес имеют, пусть малый, а все же копейка. Оно тогда, братцы, не так обидно, не так клещами за «яблочко» берет, ежели копейку в карман свой кладешь.

– Верно гутаришь, Борцов, твоя правда... – натирая суконкой чьи-то «порученные» выходные сапоги до зеркального блеску, с малороссийским колоритом вторил Гусарь. – Не бачу тут справедливости, хоть помри... Я кажу, дурять нас тут, як лопухов, хлопци.

– А то! – пуще возмущался Борцов. – Вечно до тебя, Гусарь, как до жирафу, доходит!

– А це що ж за животино буде така? Як на манер будэнка?²⁴ И сало поди ж то жреть?

– Сам ты будэнок! У вас чо ли все таки, Гусарь, в Хохляндии? Али ты один такой заточенный да вострый? Жирафа, дурья твоя башка, – это есть зверюга такая огромная... В Априке, говорят, живеть, шастает по лесам ихним... Шея у нее – во! – Борцов, забыв на время об утюге, разбросил руки, точно показывая сажень. – Ну, что пожарная каланча у церкви, а ум, как у тебя, – с горошину.

– Сам ты дурый, Юрок, ох дурный, як твоя жирафа, – хитро улыбаясь красивыми глазами, прыснул хохол и подмигнул Кречетову, ровно сказывал: «Как я его разыграл?»

– А много ль в трактире на разноске заработать способно? – не поддерживая Сашку, Алешка вновь обратился к Борцову.

Юрка хмыкнул со знанием дела, надул для серьезности щеки и с гордостью выдал:

– А что тут гадать? У меня братан в звание полового вышел! У самого Виноградова в услужении. В его трактир, известное дело, с голой ж... не залетишь, мимо скворечника будет. То-то! Глядишь, так дело пойдет, через годок-другой жди от хозяина повышенья. Он у нас из шести братьев самый способливый будет, даром, что рифметике, как мы, не учен, но про ум читает и множит не хуже нашего Сухаря... Эт я, дурак, здесь с вами время убиваю, козлом учусь прыгать да скакать... но на то воля была батюшки, а супротив ее не попрешь, плетью обуха, сами знаете...

– Так все-таки сколько? – настырно, уж боле не только ради любопытства, повторил вопрос Алексей.

– Ну, сам смекай, Кречет.

И тут Борцов, окрыленный сложившимся мотивом, сел на своего «конька» и поведал полусонным приятелям о трактирной карьере.

– Сперва малолетку ставят на год судомойкой, ну, чтобы пригласиться, кто самый шустрый да грамотный. Потом, ежели найдут его понятливым, переводят на кухню, ознакомить с подачкой кушаний. Тут тебя принуждают зубрить названия... всяких там «фоли-жоли» да «фрикасе-куресе»... На это, как Ерофейка, брат мой, сказывал, полгода отдай, не грехи – тоже

²⁴ Будэнок – теленок, теля (укр.).

наука! Ну а когда малой наострится, вот тады на него и взденут белу рубаху, но ни секундом раньше. «Все соуса, шельмец, постиг!» – выступает за него ихний главный повар, хлопочет, значит, перед хозяином... Это опять же, ежели ты ему по сердцу пришелся, а так, – Борцов даже махнул рукой, будто сам прошел всю эту каторгу, – на мойке так и сгниешь, покуда пальцы до костей не сотрешь...

– Ну а дальше-то что? – Мальчишки придвинулись ближе, сна в глазах как не бывало.

– А дальше ты не менее четырех лет лопатишься в подручных, таскаешь туда-сюда блюда, смахиваешь со стола и учишься принимать заказы... И где-то на пятом году, ежели оправдал надёжу, тебе сунут лопатник²⁵ для марок и шелковый пояс, за который его затыкаешь, и ты начинаешь служить в зале. К сему сроку, Ерошка говаривал, ты обязан иметь полдюжины белых мадаполамовых, а краше – голландского полотна, рубах и штанов, всегда свежих и не дай бог помятых.

Юрка ненадолго прервался: быстро стащил на чугунную подставку тяжелый, на древесных углях, утюг, сложил по бритвенным стрелкам брючины и устроил их на специальной подвеске.

– Ну так вот, – с нетерпеливым зудом затарахтел он, – каждый из половых с утра получает из кассы на двадцать пять целковых медных марок, от трех рублёв до пяти копеек за штуку. По заказу и расчет, но ты уже берешь с гостя наличностью. Опосля деньжата, данные «на чайшко», все сносят в буфет и уж потом делят по-братски.

– Да ну?

– Вот тебе и ну!

– Врешь, поди, за троих!

– За семерых! Накось, выкуси!

– Да неужто все так и сдают до копейки? – подивился Гусарь.

– То-то, что нет! – цокнул, как белка, языком Борцов. – Братан хвастал, что дюжую долю все тырят и прячут, сунув куда подальше. Эти кровные называются у них подвенечные.

– Ух ты, а почему?

– Деды объясняли, дескать, сие испокон веку ведется. Бывалоча, сопляки в деревне полушки от родичей в избе хоронили, совали в пазы да щели под венцы, отсель и название.

– Ловко, однако! – качнул головой Алешка.

За окном уже начинал бродить серый рассвет. Холодный туман частью поднимался, оголяя почерневшие от сырости крыши построек, частью превращался в серую паранджу росы, покрывая пустынный двор и лохматую траву вдоль ограды. С улицы в приоткрытую фрамугу бытовки тянуло кисловатым дымком кочегарки, у дровяного сарая слышен был звон топора Федора и сухой потреск расколотых чурбаков.

Алешка сидел на низкой, прижившейся у стены лавке и тупо глазел на свои до крови исколотые портняжной иглой пальцы. Все пуговицы на мундире «старика» были перешиты и ладно надраены до ярчайшего блеску. Его собственная казенная куртка была мята, пуговицы и пряжки на туфлях тусклы, из-за ворота торчал сбитый набок кончик белого бумазейного воротничка. Валившаяся от усталости троица более не вертелась и не трещала историями... Все тихо сидели напротив друг друга, и каждый думал о чем-то своем... Их хмурые от бессонницы лица были сонливы и апатичны, и тонкие, будто трещинки на стекле, морщинки, совсем как у взрослых людей, ютились около глаз и между насупленных бровей.

– Тьфу, черт! Заболтался с вами, – вдруг спохватился Юрка. – Ключи-то я от бытовки забыл в дежурку сдать. Без меня не уходите... Щас я мигом!

Звякнув ключами, Борцов хлопнул дверь, его бойкая рысца гулко прозвучала по спящему коридору училища.

²⁵ Лопатник – кошелек.

– Как думаешь, Кречетов, Юрок заливает? Брешет, поди?

– А шут его знает... – Алешка недоуменно дернул плечом. – Этот может загнуть, чего не бывает, чего никто никогда не видел и не слышал.

Гусарь, почесав в раздумье щеку, плюнул на сапожную щетку и взялся нагонять блеск на новую пару сапог. Кречетов, следуя примеру товарища, заправил иглу синей ниткой и продолжил пришивать вертлявое ушко медной пуговицы. «Однако как все в сноп да в горсть у Борцова выходит, – с крупным зерном сомнения поджал губы Алексей. – Митя мой тоже прежде вкалывал на Лопаткина в булочной, так золотым дождем не был умыт. Да и сам я не раз видел, что за жизнь у сих “побегушек”... Случалось и мне с отцом заходить в трактир испить чаю. Носятся они, черти, как при поносе. Тому кипятку с двумя кусками сахара, другому рубца на двугривенный с гороховым киселем, третьему с морозу да холоду изволь щец пожирнее, водки, каленых яиц, жаркого калача или ситничков подовых на отрубях... И все бегом, с обидным матюгом в спину: “Живей, сопля, булками шевели, мать твою раз-тар-тах!” Вот и лавируй угрем между пьяными рожами, прогибайся и жонглируй над макушкой подносом. А на том подносе порой два чайника с крутым кипятком – обвариться можно. Что я, не знаю, слепой, что ли? – Алешка еще раз усмехнулся складности и восторгам Юрки. – Оно завсегда так получается: хорошо там, где нас нет. Ведь даже “на чай” гостеньки, требовавшие только кипятку, удавятся, но руку в карман не запустят, так, разве что две-три копейки сунут, да и то за особую заслугу... Ну, если, скажем, ты в лютый мороз, накинув на шею только салфетишку, слётаешь в одной рубашонке на двор да найдешь среди сотни лошадей извозничьего двора “саврасую с плешью за ухом” и искомую “махорку под облучком”. Нет, я бы не потянул! – сам для себя поставил точку Алешка. – Сколько их мрет от простуды – страсть! А попробуй с пьяного получить монету? Это – что подвиг совершить! Полчаса держит, пьяная харя, и медведем ревет, пока ему, забубенному, протолкуешь да проталдыкаешь. Уж лучше в потешных год без копейки в “лакеях” прошмыгать, чем костыми лечь в вонючем трактире...»

– Ну, что, заждались, братцы? – Коротко стриженная голова Борцова показалась в дверях. – Кажись, отпахали... До подъема еще два часа есть... Айда, портняжки, поспим.

Глава 3

Но как бы ни была тяжела и обидна жизнь первогодка, сколько бы он ни получал подзатыльников, шишек и щелбанов от «стариков», репетиции в театре, среди настоящих актеров, расцветивали серую, однообразную жизнь.

Алешка и Сашка, на зависть другим, почти всякий раз отбирались в вечернем построении накануне и забирались мастаками. Красивые внешне, стройные, гибкие, легкие на шаг, а прежде даровитее остальных в танце, они выгодно отличались от своих сверстников.

– Вот и зима стоит за окном, – философски заметил Кречетов. – Рождество уж прошло... а жалко... Когда теперь родители заберут?..

Перед глазами подтаяла картинка месячной давности: праздничный стол с белой скатертью, со свечами, с огромным волжским рыбным пирогом в центре; славный говяжий студень с горчицей и уксусом. Милые сердцу солёности: капуста, огурчики, помидоры... Запеченная утка в латке с гречневой афанасьевской кашей, душистый чай с молоком, с пышной кухаркиной выпечкой, и вволю конфет...

– Эх, и погань была нынче на завтрак. – Ровно читая мысли Алексея, Гусарь беспокойно стрельнул взглядом на запертую дверь спальни палаты, достал из ночного столика завернутый в льняную тряпицу кусок черного хлеба, круто посыпанный солью, и, разломив его, протянул половину товарищу. – На вот, подкрепись. Гарное все же дело иметь своего земляка в хлебо-резке.

– «Завтрак», «завтрак», – сглатывая слюну, буркнул Алешка, с готовностью принимая неожиданную пайку. – Можно подумать, обед дадут лучше... суп, что коза нассала, мяса с твоей кукиш и каша на воде, как в тюрьме, от соуса только запах.

– Ладно, не горюй, в театре на кухне пожиреум... Там тетка Глафира сегодня заправляет, а уж она завсегда нашего брата подхарчует, жалостливая...

– Бездетная она, вот и жалостливая, – впиваясь белыми крепкими зубами в хрустящую, еще теплую горбушку, поправил Алешка.

– Що-то долго за нами не едут. – Сашка вновь, уж в который раз нетерпеливо уставился своими голубыми, как полтавское небо, глазами в схваченное искристым инеем окно.

– Приедут, куда денутся, – важно заверил приятеля Кречетов. – Нынче у них прогон «Мнимой Фанни»²⁶, а мы там танцуем качучу. Да и рано ты наострил лыжи. Нас ждут к двум, а сейчас и часу еще нет.

Однако на удивление скоро под окном заскрипели, завизжали полозья, торцуя алмазный снежок, нестройно бряцнули и замолкли колокольцы под дугой.

– Дорофей приехал! Ура-а!

Кречетов наперегонки с Гусарем бросились вон. В гардеробной, размещавшейся бок о бок с «пенатами» Гвоздева, они шуганули дрыхнувшего на печи сдобным калачом местного обжору кота Марсея. Распушив трубой хвост, вечный лентяй и дармоед ошалело шмыгнул под лавку, клацнув на повороте о доски когтями.

– У-у, барин чертов! Чучело-мяучело... Чтоб тебя взяло поперек живота! Хотя бы мышшь одну задавил, блудень, куда там!

Толкаясь и смеясь, выворачивая руки, они влетели в колючие шерстяные шинельцы, скроенные по образцу кадетских, впрыгнули в черные, до блеску надраенные, тяжелые казенные башмаки, нахлобучили кое-как шапки, рванули из гардеробной. Всё на улице, всё по пути.

²⁶ «Мнимая Фанни Эльслер» – название модного в те годы водевиля.

В коридоре, тускло освещенном желтушным светом двух масляных фонарей, они чуть не сбили с ног лысого Петра Александровича, занимавшегося приемкой чистого белья из прачечной.

– Я вот вам! – погрозил своей вездесущей гремливой связкой ключей Гвоздь и крикнул вдогонку: – Носы не отморозьте! Студёно на дворе!

Но мальчишки уже бухнули дверьми, рассыпав горох каблуков по ступеням.

– Эх, бесовское племя! – запоздало одернул сорванцов Петр Александрович. – Ну что ты будешь с ними делать?.. Одно слово – черти! А вы что стоите, в штаны наложили, мать вашу так? Пошли! Пошли! – гыкнул он на притихших, с высокими пачками отглаженных простыней, пододеяльников и наволочек, дежурных. – Ужли первый раз принимаем-сдаем! Эй, Филатов, Огурцов, Сойкин! Живо к банщику! Мыло время получить и мочалки...

Гвоздь, чтобы добавить радуги в серую монотонность каждодневных забот и хлопот, воткнул еще пару крепких солдатских словечек, хранившихся на полке его памяти. Приунывшие было юнцы ответили веселым беззлобным смехом, таким же, пожалуй, как их предшественники отвечали своим прежним учителям. И в этом, на беглый взгляд, казарменном, где-то даже грубоватом юморе и проявлялась одна из истинных, не фальшивых нот той неписаной гармонии, которая называлась дружбой между зеленой юностью и умудренной сединами зрелостью. Конечно, в истории училища случалось разное... Но в нем никогда не было места издевательствам, злобе, преследованию и травле учеников, как не было и оплаченного рублем благоволения или каких других особых поблажек любимчикам. Да, были таланты и были посредственности, были трудяги и были лодыри, но при всем этом дирекция училища и, в частности, воспитатели понимали большое, важное значение такого строгого и мягкого, серьезного и веселого, семейного, дружеского театрального воспитания и не ставили ему никаких препон.

* * *

Гнедая кобыла Дорофея, рослая в холке, ходко, будто шутя, несла пошевни – низкие лубочные сани – к Театральной площади. Мимо проплывали присыпанные снегом крыши домов, ясные голубые купола церквушек с золотенькими крестами и встречные экипажи. Возок тесный, но потешные утряслись, угнездились по дороге, и стало даже будто «свободно», как говорил Дорофей. Взятый по найму театром для развозу воспитанников и служителей, он чванился своим местом, хоть и не с чего, и на манер бывалых лихачей затыкал в лохматую собачью шапку перья. Однако на добрые «павлинки»²⁷ деньжат было явно маловато, и потому на морозном ветру задиристо трепетали петушиные.

– Ну-у, будя форкать, залетная-а! – отпрукивал и временами под ядреный матерок вытягивал кнутом молодую кобылу ямщик и вполоборота к мальчишкам, со скуки или по доброте душевной, делился соображениями: – Я-ть, клопы-сударики, свою прежню-то лошаденку на мясо татарам продал... гнилая, никудышна была, шельма, даром что масти буланой, да гривой пышна, чисто баба, когда та волосья начешет... А эта, матушка! – Дорофей радостно вложил чертей в кнут, подрезывая гнедую. – Одно загляденье! Эта не зря овес жрёт! Просто сердце в грудях заходится. Тпр-ру-у, ведьма! Куды разнеслась? Рано к смертушке на живодерку рвешься! Эй, слышь, сударики, – кучер, с утра чуть навеселе, перегнулся с козел и заботливо одернул сбившуюся волчью полость, – эту заразу я третьего дня на Конной у Заварзина сторговал за двадцать семь рублёв! Добрая киргизка. Токмо четыре года. Износу ей не будет... Опять же жерёбой еще не была. Вот погоди, покрывать ее, стерву, будем. Есть у меня на примете вороной удалец, не конь, а чистая тигра! А то что за жизнь без кормилицы? Вона, на той неделе обоз с зерном из-за Волги пришел. Ну-т, барышники, известное дело, у них всех лоша-

²⁷ «Павлинки» – имеются в виду павлиньи перья, которые были в моде у столичных ямщиков.

дей укупили, а с нашего брата принялись вдвое драть. Правда, зато в долг. Каждый понедельник трешку вынь да положи. А где ж ее взять? Легко, чо ли? Сибиряки скоро вот-вот привезут товар в Саратов и половину, как есть, лошадушек распродадут нашим... Так и живем...

Миновали Старо-Покровскую церковь. У Гостиного двора – вдруг суматоха и гам. Дорофей натянул круто вожжи, прижимаясь к обочине, недовольно зашевелил серебряными от инея усами.

Позади возка слышалось громкое фыркание и храп напиравших лошадей. Кречетов крутнулся: за спиной нетерпеливо ледорубили мостовую подковами разгоряченные быстрой ездой жеребцы барской тройки. Белый пар так и валил из раздутых, трепетливых ноздрей, от сырых потников и разметанных грив. Восхищенного тройкой Алешку окутало облако теплого, влажного вздошья и терпкого конского запаха.

– Эй, какого лешего! – зычно и зло слетело со щеголеватого облучка. – Заснул, гужеед? Съезжай, пока жив!

– Супонь! – рычливо огрызнулся Дорофей на мордатого барского кучера. – Шары-то разинь, чай, не видишь?!

Мальчишки жадно прилипли к левой стороне, всюю распахнув изумленные глаза. По улицам и проулкам извозчики, ямщики, ломовики лихорадочно нахлестывали лошадей и лепились к дощатым тротуарам.

– О, мать честная! – Дорофей, медленно стягивая косматый треух, набожно осенил себя скорым крестом.

Впереди залились тревожным, колючим звоном бубенцы.

– Никак кульеры, родимые... И впрямь... сударики! – испуганным полусшепотом охнул ямщик.

А колокольцы надрывались все ближе, неотвратимее, нагоняя в душах льдистый озноб... Послышался гулкий топот летящих в карьер коней и властные, грозные окрики:

– Поб-береги-ись! С доро-оги! Затопчу-уу!!

– Я кажу, вон они! Вон! – Гусарь, забыв обо всем на свете, больно вцепился ногтями в пальцы Алешки, заворуженно тыкая другой рукой пред собою.

Вдоль бульвара, со стороны торговых рядов, в искрящейся вуали взорванного снега бешено мчались одна за другой две прекрасные, ладные, одинаковые, как близняшки, дымчатые в яблоках тройки. На той и другой – ражие ямщики с гиканьем и свистом жарили кнутами. В первой тройке с поднятым воротом, при башлыке, сидел офицер и двое солдат, в другой – в окружении мрачных жандармов в серых шинелях с саблями наголо – молодой человек в штатском.

Промелькнули, прогрохотали лихие тройки, и улица, выйдя из краткого столбняка, медленно приняла обычный вид.

– Кто это, дядя? – осипшим вдруг голосом полюбопытствовал Кречетов.

– «Кто, кто»? Вестимо, кто... – с чувством превосходства передразнил Дорофей, затем привычно разобрал вожжи, еще разок ерзнул задом на обитой войлоком сидушке и, слегка повернув голову, внушительно протянул: – Жанда-армы! От нас на Урал или в Сибирь повезли на каторгу... Это тех, кто супротив царя идёт. У нас ведь, окромя дураков да дорог, в Россее ешо беда: дураки, указывающие, каким путем народу иттить... Вот власть-то законная и указала сему чахоточному пряму дороженьку на гиблый острог... То правильно, другим наука... Пошто людей зря мутить?... Да уж больно легок он на кость, как я погляжу, как есть помрёт в дороге... Оно, конечно, тоже человек Божий, жалко, а как иначе? Иначе нельзя! Но-о, милая! Но-о, дуруухая!! А ентот гусь, должно быть, из важнецких каких. На первой сам пристав Голядкин ехал. Я уж его зараз приметил. Енто евось самолучшая тройка. Как есть кульерская! – с опасливым почтением продолжал Дорофей, настигивая свою киргизку. – Я рядёхонько с господином Голядкиным на дворе стою, насмотрелся.

Мимо опять замелькали купеческие дома, будки городских, фонарные столбы, деревья, люди. На площади возле Митрофановской церкви мерзли десятки линеек с облезлыми, заиндевевшими лошадьми. Рядом толкались все обтрепанные кучера и их хозяева. Кто рядился с несговорчивыми нанимателями, кто усаживал седоков: до Соколиной горы, за городскую заставу, на другой берег Волги, куда линейки совершали регулярные рейсы. Одну из таких повозок облепила большущая армянская семья, чернявые торгаши без умолку кричали свою тарабарщину, заглушая всю площадь.

Но Алексей как будто этого не замечал, перед его взором еще долго стояло бледное, что платок, молодое, с едва наметившимися усиками, лицо того штатского. Странная посадка головы, неестественно поднятые плечи и остановившийся, утративший все живое, будто замороженный взгляд. Виделась Кречетову и косматая, высоко задранная морда ощерившегося коренника курьерской тройки, и левая пристяжная, изогнувшая кренделем, низко к земле, свою гибкую длинную шею, и даже ее кровавый агатовый глаз с тупой и злой белизной белка.

Глава 4

– Однако не опоздаем ли к сроку, дядя? – зароптал Гусарь, прислушиваясь к величественному голосу колокола.

– Какой там, сударики! Не извольте сумлеваться, – усмехнулся Дорофей и опытным движением вожжей заставил возок съехать с дороги, осадив киргизку в аккурат у трактира под вывеской с аршинными буквами «Вечный зов». – Да разви-ть я без понятиев? Разве Дорофей не понимает? Я ж нонче за целый час угораздил выпепить вас.

– А что так? – искренне подивился Алексей.

– А то, чтобы и вам послабку, и мне хорошо сделать. Тпру-у, крылатая! На-кося вот... поддержи, актер. – Ямщик соскользнул с низкого облучка и весело бросил тяжелые грубые вожжи Алешке. – И буде, буде! Не тревожьтесь сердцем. Успеет ли к вашему мусью. Я мигом.

– Ну и ну!

Мальчишки только пожали плечами, с любопытством поглядывая на запотевшие низкие стекла распивочной, за которыми скакали и шарахались большущие тени, слышен был широкий запах гармони и глухой надсадный топот сапог. «...А что ты хочешь, мать, от извозчика? – вспомнились сами собой Алексею прежние рассуждения отца. – Это лошадиное племя в трактире и питается, и угревается. Сама рассуди, Людмила Лексевна, у извозчика другого роздыха и еды нет... Вся жизнь всухомятку. Чай да требуха с огурцами. Ну-с, не так разве? Изредка стаканчик водки, ну, черт с ним, согласен, другой, но пьянства – никогда! Извозчик, он ведь как: раза два в день поест, обогреется зимой... по осени высушит на себе мокрую одёвку, и все сие удовольствие выходит ему в шестнадцать копеек: пять на чай, на гривенник снеди, ну-с, и копейку дворнику дай за то, что “гнедка” напоит да у колоды приглядит. Вот так-то, Лексевна, извозчик рабочий народ, а ты все “пьянь” да “пьянь”...»

– Як бы вправду не опознать? Не запьет ли Дорофей, как наш Чих-Пых? – с малороссийской оглядчивостью боднул опасением Сашка. – Ежели що, Дарий три шкуры сдерет... як с той шелудивой козы.

– «Як» да «як»! Что ты заякал, Гусарь? Буде, буде тебе, – копируя интонации извозчика, пробасил Кречетов. – Чай, с Дорофеем едем, а не с помойным котом.

Сашка отчасти надулся на дружеский «отлуп», но Алешка умело сделал вид, ровно не заметил сей малости. Задрав голову, он смотрел на церковное воронье, что черной метелью трещало крыльями в зимней, чистой синеве неба, щедро рассыпая хриплое карканье.

– Гусарь, что наворожат нам эти гадалки?

Сашка, забыв про обиду, тоже воззрился на метливое, черное, шумное облако, лирично задумался. Морозец был ласковый и не щипал, лишь нежно наводя своей свежей кистью румянца на щеки.

О чем думали, о чем мечтали их юные сердца в эти хрустальные минуты?.. Может быть...

– Эй, сопливые! Почему призадумались? Ишь, губищу растянули. Бога решили за бороду поймать? Ха-ха! Ой, да вы никак потешные? Ах, режь меня! Точно – они! Ножонками, поди, ловко сучите, вот бы заценить!

Друзья, позабыв про небо, спорхнули на землю и разинули рты. Перед ними стояло нечто невообразимое – нагруженное с ног до головы всяким старьем, с навьюченными друг на дружку шляпами, гирляндами цветных клубков и прочим, – кажущееся от всего этого «вавилон» безобразно огромным.

– Чаво клювами щелкаете? Торговку впервые увидели?

Из-за пестрого тряпья наконец показалось пробитое крепким зимне-водочным загаром мужиковатое лицо бабы. Пороссячи глаза смеялись, ноги-тумбы, вдеваемые в подшитые валенки, стучали друг о дружку, словно приплясывали.

Саратовская торговка – тип замечательный во всех отношениях, насколько оригинальный, настолько и любопытный. В трескучие морозы, в отчаянный зной вечно одна и та же: все так же увешанная, закутанная выше глаз, с медленной важной поступью и зычно-крикливою речью... При случае тут же готовая отстреляться перченой руганью. Эту огрубелую бой-бабу не примет ни вопиющая по своему цинизму сцена, ни скотоподобный волжский бурлак, какой-нибудь вятчи или пермяк. В речи человеческой нет выражений, а в поведении поступков, которые могли бы смутить саратовскую бабу-торговку: на своем «коммерческом» веку она нагладелась будь-будь, и при всякой оказии уж найдется, не потеряется. Как ни верти, а торговка эта – королева рынка... Пусть она не m-me Анго, но постоит за себя не хуже парижской рыночной героини. Ни пьяный варнак, ни придирчивый полицейский, ни бойкий браток – никто сей «пройде» не указ: она родилась на «толчке», выросла на нем и, конечно, помрет среди его шума, слякотной вони, мух и толкотни; всякий, кто дорожит спокойствием и достоинством своей личности, – обойди за версту эту скандальную язву: имей он даже не язык, а бритву, ему один черт не совладать с «козырями» доморощенной m-me Анго.

– Так я угадала? Потешные вы? А где ваш возила? Тутось небось? – Тетка, задорно хохотнув, ткнула грязным, красным от морозу пальцем на вывеску кабака. – Он, поди ж то, нарубил уже тяпку с утра. Ясно дело, заточил жало водкой, а еще дятёв ему, обормоту, доверили.

Мальчишки не успели пискнуть в ответ, как скрипучая низкая дверь распивочной распахнулась, и в облаке вьющегося угарного пара, табачного дыма, пенья и звона показалась борода Дорофея.

– У-у, нализался, блудень! Кобылу-то хоть не пролупишь? – без всяких-яких спустила на него собак баба.

– А ну, вали, вали на свой Толкун, ведьма! – забирая обледенелые вожжи из рук Алешки, не особенно грозно гаркнул извозчик. – Мы пьем да посуду бьем. А кому не мило, тому в рыло.

Однако та не отступилась от мужика и заголосила на всю-то улицу:

– Ах ты, черт кривой, задрыга навозная! Не тыкай, не запряг! В кармане солома с кукишем, а дует, гляньте, как фартовый! Шмякай, шмякай на своей кляче, пока цел!

– А ну, отойди, лярва! Мать твою в гроб!.. Не вишь, дятёв везу? Сука такая...

– А ты меня имел, да? Имел, что ли?! Так и зевло прикрой, сивый мерин! Эй, гляньте, православные, какой базар раскрутил этот хрен старый! – еще выше, еще визгливее взлетел по спирали голос торговки.

– Зашибу-у! – свирепея лицом, взревел Дорофей и замахнулся с козел плетеным кнутом.

Баба, сотрясая своим «вавилоном», шарахнулась прочь, собирая народ. Из кабака в белых облаках, взвивающихся в воздух, вынырнул выбежавший на шум половой, за ним еще несколько распаренных, даром что не из бани, малиновых харь.

– Гей, гей, залетные! – Дорофей – себе дороже – быстрее прочь от бучи, вытянул гнедую от всей души.

Кобыла, до этого момента остававшаяся ко всему равнодушной, выражая, должно быть, свое неудовольствие лишь тем, что пряла ушами, рванула так, что потешные едва не посыпались картофелем на снег. В какой-то миг на крутом повороте пошевни так завалились на бок, что Гусарь и Кречетов могли поклясться, что летели на одном полозе и вдруг тяжисто ухнулись на оба, перевалившись на другую сторону, да так, что, казалось, кишки застряли у горла.

– Живы? Не убились, сударики? – щуря в смехе веселый глаз, крикнул Дорофей. – То-то лихо! Со знатным ветерём котим! Ишь, киргизка-то моя, шельма, как валяет! – с гордостью возвысил он голос. – Токмо копытом-то и бьёт, шалунья, в железо передка. Эх, и славно махает, ровно беговая!.. А эта красномордая стерва: «кляча»! Я-ть тебе покажу «клячу»!.. Я-ть тебя, подлюку, при случае пополам перееду. Ду-ура ты, еть твою мать!.. Ишь, сука, языком-то толдотить, аки метлой метёт. Тьфу, в душу тебя, а еще баба... Вы уж заткните уши, сударики! Вестимо, совестно... не для вас пули отливал, – дергая скулами и желваками, медленно отхо-

дил Дорофей. Видно было, что незаслуженная брань торговли, что осиное жало, дошла и до его крутого ямщицкого сердца.

На репетицию к назначенному часу успели вовремя. Дорофей не подвел. У Театральной площади он дал роздых упревшей лошади, и когда наконец показался театр-дворец с огромными сияющими окнами, он перевел гнедую с марша на сдержанную рысь и уже с шага натянул вожжи ровнехонько у служебного входа.

– По вечеру уж не со мной покотитесь, – выметая щетинкой снег из казенного возка, посчитал нужным уведомить Дорофей. – Стенька, похоже, будет... али Семеныч... А все же лихо мы нончесь в обнимку-то с ветерём, сударики? – тепло прощаясь с каждым в отдельности шершавой рукой, еще раз подмигнул Дорофей. Он по-прежнему был весел, и от него по-прежнему неуловимо сквозило дешевой наливочкой, которая на морозце особенно, как-то по-новогоднему вкусно пахла.

– До встречи, милый Дорофей! Лучше тебя нет, братец! – не задумываясь, ко времени подмаслил извозчикью душу находчивый Гусарь.

– И лучше твоей киргизки во всем городе нет! – в тон подхватил Кречетов.

– Ну, буде... буде вам, лисята, лишку-то заливать, – тихо, но густо засмеялся довольный невинной лестью Дорофей, и смех его, как показалось Алешке, был схож с радостным реготаньем коня, которому в ясли конюх сыплет добрую меру овса.

* * *

– Нет, вы только посмотрите на них! – Дарий, весь – ртуть, с дергающимся от негодования лицом, ударил в сердцах стеком по спинке стула. – У вас что в голове? Нет, я хочу знать, черт возьми! Молчите? Ах, да, «...вот новая весна грядет – еще попытка раз поймать нам счастье...». Так, что ли?... Ну так запомните, вы не на бульваре вершите променады! Ох, я вам покажу волнующий запах близкой вешней воды, я вам устрою веселую капель! Все на сцену и все марш по своим местам. Гаврелюк, Анищенко, Коробейникова, Рублев, Тархова и вы все, бездельники... Не стойте, не стойте верстовыми столбами. Все на исходную... И помните! – это мелодрама Дюканжа и Дино «Тридцать лет, или Жизнь игрока», а не свадьба у тетки в деревне! Итак, на лирической ноте, не торопясь, начали...

Маэстро с изысканной требовательностью взмахнул стеком, и словно по волшебству откуда-то сверху слышались нежные, дрожащие, как утренняя роса, звуки скрипок, в которые робко вплетался рожок пастушка...

Световые эффекты изобразили атмосферу раннего, в струящейся зеленой дымке, рассвета. Сквозь дырявую кровлю дома, установленного в глубине сцены, набирая спелую силу, начинало светить небо... Постепенно, не вдруг, стала отчетливо видна умело подсвеченная, провисающая солома кровли, а в декорациях комнаты взгляд зрителя поражало умело сотворенное художниками и бутафорами «благородство нищеты» – живописные и величавые лохмотья. Благодаря контрасту убогого жилища с яркой бирюзой высокого неба на сцене возникла непривычная, чудесно сложная эмоциональная атмосфера... Бытовой, заурядный интерьер становился поистине романтическим, таинственным, полным волнительного ожидания.

Но уже на третьем явлении, с выходом на авансцену танцоров, весь этот мир волшебства был разбит, как хрустальный шар, возвышенным до окрика, еще более возмущенным голосом маэстро.

– Удивительная, просто удивительная дрянь! Полнейшая редкостная бездарность! О, я умоляю! И кто-то из вас хочет убедить меня, что это шедевр? Да провалиться мне на этом месте! – Он с силой, брезгливо и зло топнул туфлей. – Покажите, покажите мне, где я могу видеть танец?! Нет, я вижу, конечно же вижу, но... стадо слонов! Парнокопытных, кого угодно, но только не воздушный выход стайки влюбленной молодости! Что это такое, Сазонов? Ты

влюбленный юноша или брюхатая попадья? Что ты все время, как мокрая блоха, подскакиваешь на паркете? А ты, Азметов? Да с твоим шагом только на плацу вдов пугать! Нет, так дело не пойдет... Самое страшное для актера – это уйти со сцены под стук собственных каблуков. И ежели вы при таком старании останетесь, другого не ждите! Господи, и это моя гордость! Моя гвардия! – Дарий, сдавив длинными перстами бледные виски, прошелся перед строем взмокших лицедеев, пребывавших в состоянии скрытого раздражения и почтительного волнения одновременно. – Постыдились бы потешных, ей-богу! – Балетмейстер красноречиво кольнул, как штыком, стеком в сторону смиренно молчавших отроков. – Какой пример вы преподнесите им?... Сколько мне еще мотать с вами нервы? Сколько раз вбивать в ваши головы, что талант достается недорого... Дорого обходится служение искусству. И оно будет стоять вам всей жизни! А на что же тогда иное нужна наша актерская жизнь? Глухие да услышат, слепые да увидят, немые да заговорят! – вот, вот! – как должен действовать театр на свою паству! Вот как вы обязаны играть! Как служить Мельпомене! А вам, – месье привлек внимание воспитанников резким хлопком в ладоши, – тоже не следует отпускать вожжи! Что имеешь в профиль, Гусарь, то получишь и анфас. Темп сбавляешь при поворотах... Что ты там все смотришь под ногами, как будто в дерьмо наступил? Голова должна быть гордо поднята, подбородочек вперед... Ты же, Кречетов, похоже, у нас готов обнять весь мир. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Какого беса ты все работаешь на Гусаря? Влюбился? Смотри! Свое дело не забывай! Он – свое! А теперь внимание, все только на меня: как зазвучал рожок, все выходят, не мнутя в карманах... Дайте, дайте себе труд: шаг легкий, крупный, но без солдатчины! И не гуськом, не в сортир идете. Сазонов, в ногу будешь ходить, если забреют в солдаты. Итак, все собрались, с того же места... Феофан Иванович, прошу! – Маэстро, с болезненной молитвенностью прикрывая веки, сосредоточенно кивнул дирижеру, и все началось в сотый раз вновь.

* * *

Да, сценический мир Дария был огромен. Репертуар театра – велик. Античные боги – выходцы из крепостных, Иваны да Марьи – в спектаклях маэстро летали на невидимых зрителю сталистых шнурах через сцену или спускались на колеснице-облаке, запряженной десятком белых как снег ручных голубей. Газовые шали, сверкая на складках серебряной и золотой искрой, вздымались и опадали в шоколадных руках арапчат, вакханок и нимф, пышные гирлянды бело-красных, желтых цветов вплетались в прихотливо составленные ансамбли хоров. Жалкие лачуги охотников, рыбаков, пастухов на глазах превращались в неприступные крепости, в мрачные средневековые замки баронов и герцогов, точно из-под земли вырастали дремучие леса, то вдруг на удивление всем начинали бить пенные фонтаны, а с «неба» слетались златокрылые ангелы.

Частенько болтаясь за кулисами, подолгу ожидая своей, подчас пустяковой, роли, пытливого молодому глазу можно было все же многое перенять. Кое-кого из потешных, таких как Чибышев и Петров, Кожевников и Рыбкин, увлекала лишь праздная суета и толкотня, пустая видимость участия в происходящем, и без того развращавшая ленивые души. Но другие, и среди них Алешка Кречетов, даром времени не теряли, пристально наблюдали игру маститых актеров и накрепко брали в память, – учились. А учиться мастерству было не занимать у кого!

Прославленные талантливые актеры саратовского действа изображали полководцев, греческих богов, былинных героев, играли комические и сложные трагедийные роли. Алешка и Сашка только диву давались и цокали от восхищения языками: как они умели по воле маэстро «передавать в танце трагическое и смешное, комедийным приемом оттенить драматизм положения, будь то балеты на анакреонтические или мифологические сюжеты, на темы

поэтические или историко-бытовые»²⁸. И все же главной изюминкой действия был обольстительный, феерический, изысканный танец – венец и слава мастера. От этого царящего на сцене волшебства захватывало дух и терялось ощущение реальности.

– Однако как все гладенько и вертенько в театре получается, – вытирая после репетиции лицо жестким льняным рушником, жалобно скулил в гримерке Гусарь. – А в классах Цыган чистый зверь. Гутарит, що любит нас, як чад своих, а на поверку загнать рад, как того лошака. Я кажу, Леха, то все брехня...

– Да, легок наш месье на ногу... да тяжел на руку! – стягивая влажное от пота трико, буркнул под нос Алексей.

– Во, во! Истинно так! Он, злыдень зверюкатый, в ком нащукает уменя, того и гнобит. Я нынче чуть не сдох на его заносках. Я тебе вот что скажу: подсюк он... подсюк и есть!

Кречетов не ответил. Освободил из жарких тисков «балеток» гудящие от усталости ноги, поставил босые ступни на прохладный пол, откинулся спиной на спинку стула, закрыл глаза: «Верно, однако, глаголет хохол... Дарий в ком больше найдет способностей, на того и крепче положит глаз, не скупясь при сем на тумачи и пощечины. И то верно, что по количеству синяков да шишек легко можно высчитать, кто у него в “одаренных” ходит».

А поскольку Кречетов и Гусарь довольно скоро выбились в первую пару, то, надо полагать, что на их теле красовалось изрядно следов ответного усердия и любви учителя. Каждый божий день с упрямой египетской методичностью Дарий надсадно добивался от них все более и более совершенного исполнения пируэтов, высоких и бодрых прыжков, сильных стремительных вращений в воздухе, виртуозных заносок. И к четвертому году пребывания Кречетова в «потешке», окрепший от бесконечных упражнений, он стал, не задумываясь, завидно легко выделять пируэты, глиссады, антраша и прочие балетные хитрости, на которые приходили дивиться даже опытные знатоки этого дела. Ему на славу удавались фигуры разных характерных танцев: пусть это были хореографические фрески китайских, испанских, индийских или каких других народов. По слову маэстро, его ноги «стали чувствовать вдохновеннее». А непреходящий с первых дней страх перед наставником в конце концов смешался с восторженным чувством обожания. Кречетов и сам позже не раз повторял, что танцы, гимнастика рук и ног, общий тренаж «потешки» как ничто закалили его слабое от природы тело. И уж без всяких обиняков признавал, что успехом в водевилях или балетах, где ему приходилось все чаще исполнять главные роли, он полностью обязан урокам мэтра.

²⁸ Золотницкая Т. Мартынов.

Глава 5

Но пока шел только четвертый год обучения. Желанный горизонт выпуска так и оставался по-прежнему горизонтом; впереди еще маячили долгие изнуряющие месяцы зубрежки и маяты по «специальности».

В семь часов воспитанников (независимо от курса) срывал с нагретой постели неумолимый звонок, и после утреннего туалета воспитатели вели всех в балетный класс, который потешные с присущей им выдумкой окрестили «стойло». В классе, от веку пропахшем прогорклым потом и худо протопленном одноруким Федором, при жухлом свете нескольких оплывших свечей они становились к палке и со слипающимися глазами, под мерный счет репетиторов-мастаков или старших балетных, начинали разогреваться, выполняя бессчетные наклоны, тандю, плие, батманы и прочее, заканчивая аллегро.

После скудного завтрака воспитанников ожидали так называемые «научные» классы – с восьми до одиннадцати. Здесь штудировались предметы, которые были подобраны самым загадочным образом. Кроме Закона Божия, ими постигались русский и французский языки, этика и эстетика, греко-римская мифология, арифметика и археология, география, история Отечества, фехтование, каллиграфия, а также верховая езда. «Зачем нам, актерам, все это?» – ломал вместе с другими голову Кречетов. Но вопрос «зачем?» так и оставался вопросом.

В одиннадцать часов, поднаторев в науках, потешные расходились для занятий по «специальности», которые тянулись улитой до часу дня. И там опять «без просвету и продыху» балетмейстеры колдовали над их телом. Потом, как насмешка, случался краткий перерыв на обед, и с трех до пяти шли занятия в общих классах искусств. Дирекция почитала своим неукоснительным долгом обучить всех воспитанников пению, светским танцам, драматическому искусству и игре на музыкальных инструментах. И если сами юнцы подчас не зрили в этой практике смысла, то это не значит, что он отсутствовал. Педагогический совет училища полагал, что, выйдя «в мир», каждый выпускник обязан сыскать себе применение и достойно выслужить положенные десять лет при театрах – только тогда средства, затраченные на их воспитание, могут считаться погашенными, так как скрупулезно и методично вычитались из жалованья. Однако против практической и меркантильной существовала еще и другая, более значимая польза данной методы, пожалуй, вряд ли вполне до конца осознаваемая и самим начальством: такое разностороннее образование для одаренного воспитанника на поверку оказывалось бесценным даром. Выпускник становился мастером на все руки, выдюжив тренаж в различных областях актерского искусства. Его амплуа не знало границ, распахиная широкий выбор ролей на службе театру.

* * *

Это случилось все той же зимой, на четвертом году пребывания Кречетова в стенах училища. В одно из воскресений Алексей, как обычно, отправился навестить родных: сердце его крепко тосковало по маменьке и брату Мите. Однако сам дом он навещал весьма неохотно, если не сказать, через силу, оттого как там его ожидала вечная «пропилка» и хмурые наставления пьяного отца. Так и не сыскав определенного, стоящего для главы семейства занятия, Иван Платонович продолжал пить горькую, все реже пробуя добиться места управляющего в богатых домах. Прежде, в более свежие годы, лет пятнадцать назад, он еще наводил впечатление человека положительного, основательного, не без достоинства, но вспыльчивый, неуживчивый нрав всякий раз ставил ему подножку. И даже редкие, внезапно накатывающие, что волна, минуты душевной широты теперь все больше сменялись вспышками беспричинного, дикого гнева, превращая его в тирана и деспота. Теперь уж как год в их доме не было Степаниды...

Иван Платонович, толком не рассчитав беззаветно преданную дому няньку, выставил старуху за дверь, обидно обозвав ее «приживалкой» и «бесстыжей нахлебницей».

Маменька, Людмила Алексеевна, по этому случаю очень скорбила, много плакала, вельми просила «простить», прощаясь с подружкой-кормилицей, втайне выдала из своих сбережений толику денег, но больше, как ни старалась, ничем не могла помочь – любимый супруг был неумолим. И потому Алеша, получая долгожданную «вольную», всякий раз норовил живее «слизнуть» из дому и на свободе, отданный лишь себе, побродить по Саратову, – уставшая душа так и молила хоть ненадолго вырваться из-под жесткой узды училищного надзора.

И вот в один из таких «отпусков», нарушив на свой страх и риск директорский приказ являться в училище не позже девяти вечера, Кречетов, пришпоренный февральским морозцем, с игриво бьющимся сердцем в груди, побежал на бульвар «Липки», где два раза в неделю – в воскресенье и четверг – играла славная музыка, состоящая из военного духового оркестра. В такие музыкальные вечера городской бульвар расцветал: наполнялся отдыхающими до таких степеней, что решительно все аллеи, площади и беседки, павильоны и скамейки, будь то зима или лето, были заняты народом. И везде, куда ни кинь взгляд, мелькали раздумавшиеся радостные лица, сверкающие в оранжевом свете уличных фонарей глаза, то тут, то там сыпался смех, и слышалось дружное пение. Гуляющий вечерний Саратов был откровенно под «мирным» хмельком и озорно добродушен. И право, весело было углядеть себя с вытянутым, как груша, носом в горящей огнем меди оркестра. Приятно было видеть и бравые лица дядек-усачей, раздувающих щеки. Затянутые в шинели и ремни музыканты, слаженно подхватывая дирижера, сами напоминали Алешке отчаянных забавников, главная суть которых жила в непоколебимой жизнерадостности и в отливании таких штук, от которых на сердце становилось легко и празднично.

– Здравия желаю! – не удержался от молодецкого выкрика Кречетов и с механической точностью, точь-в-точь как юнкер офицеру, отдал честь военному оркестру. Кто-то из усачей подмигнул ему, точно говорил: «Молодца, братец, премного благодарны!»

Попадались, правда, в толчее и уже основательно сизые, и свекольно-бурые носы, оступающиеся, скользкие на льду ноги и заплетающиеся языки. Нет-нет да и слышались перечные саратовские словечки, тут же рожденные и тут же для пущей остроты посыпанные крепкой солью. Алешке сами собой слетели на память кем-то брошенные прежде слова: «Отойди, мораль! Прочь, цензур! – не мешай Волге-матушке ковать свое слово!»

Но во всей круговерти этого прекрасного действия, среди разноцветных гирлянд и шаров, которыми по воскресным гуляньям наряжался бульвар, среди торговых рядов со снедью и их зазывалами, взгляд и внутреннее стремление Кречетова искали иного.

Справа от него вдруг послышался девичий смех, призывно пахнуло духами, до ушей долетело умышленно звонкое:

– Ах, и красавец каков! Уж ты побереги себя для нас!..

Кречетов с жадным любопытством юности обернулся. Три веселые молодки в заячьих мещанских тулупчиках, чуть под хмельком не то от винца, не то от морозца, угревшись под руки, подняли на смех Алексея:

– Ой, дружки, да он никак душечку ищет!

– Глянь-ка, братец, нет ли ее среди нас?

Алая краска быстро разбежалась по его щекам. Спасибо морозцу, иначе... Алешка готов был провалиться сквозь землю.

– Ну что камнем взялся? Нашел свою душечку, кавалер?

– Ой, да он засмущался, девки! Какая ему зазноба?

– Гляди-ка, какие мы нежные! Мал еще... молоко на губах не обсохло!

Подружки, закинув назад головы, зашлись на три голоса, шибче и ходче закрипели снежком по аллее, приостановились на миг, порывисто стрельнули смеющимися глазами в его сторону и растворились в толпе.

– Ой, ванёк ты ванёк, паря! Таких краль растерял!.. Прямо халва! А та, что в центре, черноглазая, слаще других была! Беги, догоняй! Ишь, девки-то какие ладные да пышные, прям шаньги из печи. Одно слово – люфам!²⁹ Алексей вздрогнул от неожиданности, оглянулся и зарделся еще сильнее. Прямо перед ним, опираясь на костыль, в тощей шинельке внакидку, под которой болтался сиротливый крест, стоял старый одноногий солдат и лыбился щербатым ртом, глядя на него веселыми пьяными глазами. На его глянцевиной усатой роже, помимо разлившегося по жилам водочного тепла, читалось еще и выражение солдатской гордости и въевшееся, как смола, презрение ко всему гражданскому, ко всему, что не вписывалось в понятие его бивачного бытия.

– Однакось швыдко бегают, стервы, теперя и конем не догонишь. Штудент разве? – сунув жилистую руку в карман зеленых нанковых штанов и нашарив там заготовленную сигарку, мимоходом поинтересовался он.

– Что-то вроде того...

– Эва ты, братец... вроде у тещи в огороде. Лапоть ты, смоляная куртка. Сразу видать, мирской человек, не наш...

– А чем же гражданские хуже военных?

– А всем, – дерзко хохотнул бывший солдат и забористо выругался. – Что с ых, гражданских, толку-то? С паршивой овцы хоть шерсти клок, а энти?.. Болтаются тутось, аки козлы на веревке. Свистять свиристелями под окнами. Тьфу, срамота! Речной табачок-то, наш, волжский... Уважаешь разве? Не брезгуешь, штудент?

– Да, адское зелье... – Кречетов с благодарностью кивнул и угостился протянутой сигаркой.

Закурили. Табак люто драл горло. Сыпал нежный снежок. Вокруг было шумно и весело. Душа жадно требовала новых впечатлений. Но этот одинокий, крепко сбитый ветеран чем-то не отпускал от себя Алешку. Ему хотелось еще минутку-другую постоять с этим дядькой, от которого так и веяло сожженным порохом, опытом тяжелой солдатской доли, да и просто житейской мудростью.

– Однако шинель на тебе синяя... добрая, как я погляжу, – с уважением к армейскому покрою обронил солдат. – А вот на «ушках»³⁰, чой-т не пойму, гусли, чо ли, али другой какой анструмент?

Алексей бросил взгляд на свои пуговицы и невольно улыбнулся – на синем вицмундире воспитанников были военного образца посеребренные пуговицы, на которых красовался вычеканенный барельеф греческой лиры.

– Что ты все, братец, на мой костыль-деревяшку пялишься? Энто нончесь у меня ноги нет. А когда-то у меня были крылья.

– Где это вас, дядя?

– Известно где... на Капказе, сынок. Под Кизляром, крепостца есть такая – Внезапная...³¹ Слыхал разве?

– Нет, – честно, с некоторым смущением, признался Кречетов.

– То-то и оно, что не слыхал. Кази-Мулла³² тамось был заводилой... большим человеком в Чечне слыл... Вот тамось и случилось.

²⁹ Искж. la femme – женщина (*фр.*).

³⁰ Ушки – пуговицы (*разг.*).

³¹ Внезапная – одна из русских крепостей на Кавказе; построена в 1819 г. на территории Дагестана.

³² Кази-Мулла (1794–1832) – первый имам Чечни и Дагестана, объявивший хазават (священную войну мусульман против «неверных»).

Инвалид, наморщив в тяжелую, крупную складку лоб, глубоко затаился, по всему погружаясь в воспоминания. Лицо стало жестким, серьезным, и только едва приметное подрагивание скул да игра желваков под загорелой, плохо пробритой кожей выказывали значимое выражение состояния его души.

– Командир наш, отец родной, Царство ему Небесное, объехал нас тогдась верхом и сказал, соколик: «Умрем, ребята, а Внезапную не отдадим!» И наши все как один надсадили глотки: «Умрем! Ура-а!»

Калека ухватистее переставил костыль, нахохлился седой галкой, на серых, точно выгоревших глазах заблестели скудные слезы.

– Нет, братец, тамось, скажу я тебе, никакой пудры, никакого фразерству не было... одно сердце и православная душа... Так-то... А позднее татары налипли во главе с аварским ханом страсть как много... Нас-то всего ничего – горсть была. Слава заступнице Божьей Матери и святым угодникам – насилу отбились. Ну и репы эти гололобы – жуть! А потом оне, сволочи, густо трахнули по нам из пушек... Бандировка – пальба была, команд не слышать... Вот тогдась меня и шарахнуло под колено, – рассказчик глухо постучал костылем по струганному чурбаку, что заменял левую ногу, и сплюнул изжеванную сигарку, – бытто с крыльца упал, оступись. Глядь, братец, – а ноженьки моей-то и нету. Веришь, штудент, боль такая, что и незнатко, бытто ее и нет вовсе.

– Что ж, совсем-совсем не чуяли боли? – не мог поверить Алексей.

– Не-ка! – Солдат весело зажмурил котом один глаз. – Ровнехонько как в бане из шайки кипятком жажнули. Баба-солдатка моя, покойница... так прежде меня окатывала. И все... Тутось, голубь, главно не маять себя соображением, думками разными. Без них оно кабысь и ничего. Уж сколь годков унеслось, – с родственной откровенностью вздохнул он, выше натягивая тощий ворот шинельки, – а ведь, прикинь, братец, так ить стоит перед глазами, зараза... ноженька-то моя... валяется вот так, в сажени от меня... в грязи... а на ней сапог.

Слушая незамысловатую горькую исповедь калеки, Алешка давил в себе ком дурноты, слепленный из стыда, смущения и глупой боязни оскорбить своим любопытством того, к кому испытывал сейчас глубокое уважение.

Но солдат, напротив, с какой-то странной торопливой готовностью продолжал распахивать душу, видя сочувствующее лицо, и был, как видно, откровенно рад поделиться своим наболевшим, своим пережитым, услышав в ответ слова участия и доброты.

– Вот за энту стычку, что выстояли... не дрогнули перед краснобородыми... мне и был даден сей «кренделек». – Солдат с хмурой улыбкой щелкнул коричневым от табаку ногтем по Георгиевскому кресту и хмыкнул: – А батюшка наш, командир, был гибло ранен аварской пулей в живот... близёхонько к паху... оттого и помре в телеге, сердешный. Даже до лазарету не свезли, как есть весь измок кровью. Земля ему пухом...

Ветеран, глянув на подсвеченные золотым месяцем купола Богородице-Владимирской церкви, перекрестился и посмотрел в глаза Алексея:

– Ты толькось не молчи, сынок. В наше темное времечко каждо добро слово – молитва. Ты мне по сердцу пришелся... У тебя на лице значенье написано. Я уважаю таковых... Ты уж поверь старику, я понятие в сем имею. Ты часом не из благородных будешь? Не барчук ли? Вона как девки глазами стреляли.

– Нет, – опять честно и простодушно качнул головой Алешка, хотя ему и было приятно в тайниках души, что за внешность и славную выправку его частенько путали с барином.

– Так о чем, бишь, я лясничал? Ах, да! Как там в твоём лицею, шибко муштруют?

Алешка взвесил этот неожиданный вопрос – прежде его задавали лишь Митя да маменька.

– Надеюсь, изрядно. – Он пожал плечами и, подбивая меж пальцев перчатки, спросил: – А вам-то не холодно... так, внакидку?

– Ну, выдумал тоже! – отряхиваясь уткой от снежной крупы, снова застужено хохотнул солдат. – Деревяшки не мерзнуть, братец.

– Как вас зовут-то хоть, дядя? – все более проникаясь симпатией к ветерану, искренне желая хоть как-то удобрить сердце старика, вставил Алексей.

– Ты вот что, сынок, уясни. Я ни у тебя, ни у Христа ничегошеньки не прошу... Мне и осталось-то, может, всего ничего... Но однось ты мне заобещай, красивый, что когда-нибудь доберешься до стола со своими дружками... выпейте водки за дядю Ваню и за победу наших ребятушек, что там, на Капказе, и нынче свою кровушку льют...

Алешка не задержался с ответом, тут же заверил старика уверенным и ответственным «да», однако не удержался и задал последний наболевший, что ноющий зуб, вопрос:

– Дядя Ваня, а так... трудно жить на свете только... в юности?

– Всегда, – вдруг отчего-то помрачнев скулами, почти зло сплюнул солдат и, не говоря больше ни слова, тяжело наваливаясь всем корпусом на костыль, заковылял прочь.

Глава 6

Кречетов еще некоторое время смотрел на развевающиеся полы шинели, на деревянный костыль, что натужно тыкал белый искристый снег, когда бой городских часов, заглушая веселья гам, заставил екнуть сердце Алексея. «Черт! Половина десятого!.. Пора восвояси!» На все удовольствия у него оставалась в запасе лишь жалкая четверть часа, еще столько же – поймав извозчика, добраться до училища и через окно, отворенное Гусарем, по-тихому забраться в палату. За вечернюю поверку голова не болела. Уж там, как пить дать, кто-то из своих гаркнул за него «я» – потешные не подведут.

Не теряя времени даром, он рванулся на пруд, к городскому катку, там была настоящая толчея и веселье. Времени брать напрокат коньки не было, да и медяков в кармане брэнчалось – кот наплакал, поэтому Алешка решил не отказывать себе хоть пару раз «пролететь с огоньком» в шумной толпе сверстников с ледяной горы. Снежный городок в Саратове всегда ставился с русской душой и размахом, благо снегу и воды в России вдоволь: тут тебе и сказочные из цветного льда фигуры в пять сажен высотой, и гроты, украшенные светящимися фонариками, и катушки с названием «царь горы», и лабиринты не хуже критского, чего только нет – одно загляденье!

Ноздри снова защекотал сладкий, волнующий запах духов. Глаза разбежались от румяных девичьих лиц и светлых улыбок, от ярких посадских платков и лихо сбитых на затылок шапок, от пестрых варежек и меховых рукавиц... За краткий миг ураган тревожно-радостных, бессознательно будоражащих мыслей и чувств пролетел в его голове, заставив пылче стучать юное сердце.

Оскальзываясь на ступеньках, с тычками и смехом, с перекриками и охами, извозюканная снегом толпа подхватила Алексея, сжала в тиски разгоряченных объятий и, увлекая в водоворот круговерти, взнесла на ледяной гребень.

– Поберегись, православные! Разлетись, народ!! Кóтим!

Веселый поезд из шуб и шапок с восторженным «Ура-а!» ахнул вниз по сверкающему языку горы – только дух захватило! Перед слезящимися от ветра глазами заискрились огни, мелькнули золотыми рублевиками фонари и лица стоящих внизу.

В неразберихе веселья Алешка ухватился рукой за рукав какого-то молодца, напиравшие сзади спрессовали массой, нос уткнулся в чей-то ворот беличьей шубки, лаская прохладным ворсом щеки и лоб. Взгляд выхватил лишь узкую полоску белой шеи и золотистый локон, выпавший из-под кожаной с ушками шапочки на воротник. Чудное мгновение длилось недолго, в следующий момент волшебство скольжения рассыпалось, как карточный домик, обратившись в хаос смеха и кучу-малу.

Он и сам не понял, как вдруг оказался лицом к лицу с беличьей шубкой. Потеряв равновесие, он вместе с другими дружно повалился на снег, и опять его лицо уткнулось в пушистый дымчатый мех, но на этот раз он губами и подбородком ощутил краткое прикосновение к нежной, чуть влажной щеке, пахнувшей талым снегом и тонкой ванилью. Вопрошающие и вместе с тем смеющиеся бирюзовые глаза, окруженные темной тенью ресниц, с укоризной смотрели на него.

– Простите... Я... я не хотел... Вы не ушиблись? Давайте я помогу!

Алексей быстро вскочил с колена, открыто протянул руку и заботливо помог подняться совсем еще юной, растерявшейся положением барышне.

– Благодарю, – совсем кратко, точно смущаясь и сей малости, сказала она. Затем торопливо высвободила свою облепленную снежным репьем варежку из ладони Алешки и, ловко стянув ее, поправила разметавшиеся по плечам волнистые волосы. И это почти бессознатель-

ное движение маленьких, изящных, розовых на морозце пальчиков, полное наивной естественной грации, это ласковое выражение рта и улыбки – в одночасье пленили Кречетова.

Съедаемый страхом неминуемого расставания, не обращая внимания на сыпавшийся снег и шумное мельтешение вокруг, он первым пошел в атаку:

– Еще раз прошу извинить, будьте со мною без церемоний... Меня зовут Алексей, а вас?

– Отчего же? – проворно одергивая шерстяную юбку и застегивая скрытые английские крючки распахнувшейся шубки, с легкой краской на щечках парировала незнакомка. – Довольно того, что я знаю ваше имя...

– И все же? – Алешка с молитвенной надеждой ловил в ее многоцветных зрачках какие-то зазорные искры и терпеливо ждал. Она же ответила, капризно дернув губкой, с едва сдерживаемым смехом:

– Представьте, не помню. Как видно, забыла. И вообще, что может быть хуже уличного, безответственного знакомства? Фи...

– Нет, погодите! Ради бога... – сбитый волнением, путаясь в длинных полах своей щегольской шинели, едва не поскользнулся на припорошенном льду Кречетов.

– Не смейте идти за мной. Это дурно. Я вам сего не позволяю! – резко заявила она, но вместе с тем ее чарующие темно-бирюзовые глаза непринужденно смеялись.

Затем она топнула изящной ножкой, стряхивая с высокого взъема белого сапожка на шнуровке снег и, более не говоря ни слова, поспешила на требовательный окрик стоящей неподалеку на посту гувернантки.

«Ах, пудра! Ах, кокетка! – против воли сорвалось в обиженной душе Алексея, но тут же в груди зазвучали другие струны: – Господи, но как она хороша! Какая прелесть... Какая душенька... Эх, жаль. Видел бы Гусарь... Доведется ли встретиться еще?..»

Расстроенный Кречетов, дергая перчатки, проследил цепким взором за уходящей беличьей шубкой. Мелькая коротенькими белыми сапожками, грациозно лавируя между отдыхающими, она торопливо перешла на другую сторону липовой аллеи и остановилась у беседки, под снежным куполом. Там ее дожидалась наставница с недовольным постным лицом иностранки, кутая свой шведский или британский нос в лисий воротник. Алексей видел, как гувернантка что-то выговаривала своей воспитаннице, и та, еще строже выпрямив спину и виновато склонив голову, покорно выслушивала нарекания.

– Вот старая вобла! Чтоб тебе повылазило да разбило!

Мрачный Кречетов, нервно пощипывая пробивающийся пушок на верхней губе, поймал брошенный в его сторону холодный и строгий взгляд гувернантки, до напряженного слуха долетело что-то рваное, с акцентом: «...возмутительно... должно быть стыдно! Еще военный... бонвиван... варварская страна... варварские обычаи!»

Сердце мучительно сжалось, когда он увидел, как прелестная барышня, так и не открывшая своего имени, под патронажем неумолимой бонны направилась к центральным воротам. Проходя стороной мимо продолжавшего стоять молодого человека, юница чуть-чуть, осторожно косясь, еще раз взглянула на Алексея. И он, конечно, поймал этот краткий взгляд прекрасных глаз. А потом они смешались с другими людьми и навсегда исчезли из жизни Алешки, как и тот одинокий солдат, что угостил его волжским табачком.

Удобный момент был упущен, и ему не суждено вернуться. Кречетов пал духом. Все ему стало не милым: ни резвые, скачущие в галоп звуки лихой польки, ни бравые оркестранты, ни яркие фонари, ни радостные лица на качелях, ни дразнящий желудок запах жареных пирожков... Мир рушился, и ему, Алексею Кречетову, в нем не было места.

«Как же так?.. Как же так?.. – терзался он, не находя себе места. – Только-только объявился, стал распускаться и расцветать подснежник настоящего счастья... и на тебе... Все... Все кончено, все в прах... Какой дурак! Какой стоеросовый, неловкий! Следовало настоять, найти правильные слова, добиться, а я в кусты... А еще романы о рыцарях, мушкетерах треп-

лешь... Забил себе голову! Где ж твоя шпага? Мальчишка! Птенец! Теперь уж поздно после драки кулаками махать. Ах, если бы не пути проклятой “потешки”!.. Я бы выследил, где она живет, на какой улице, в каком доме... И придушил бы эту чертову шведку с рыжей “кларой” на плечах. Ведь насмерть встала между нами терновником... Бездушный синий чулок! Не тетка, а гильотина! Еще и с кадетом меня перепутала, дура...»

Алешка сжал было кулаки, напрягая мышцы тренированного тела, но вдруг почувствовал жгучий прилив стыда за свою случайную, по-детски глупую мысль.

Но время было бежать в училище. И он собрался было уже рвануть на бульвар, ловить извозчика, когда нечаянно обнаружил совсем рядом, у своих ног, там, где еще недавно стояла она, сиротливо лежавшую в истоптанном следами снега обретенную беличью муфту. Точно замороженный, Кречетов склонился и бережно поднял девичью муфточку, встряхнул от снега и прижал к груди, как волшебный цветок. Нежно поцеловал, еще и еще... Лицо Алешки снова участливо пощекотал прохладой дымчатый ворс. От муфты пахло тонким, точь-в-точь как от нее, едва уловимым запахом сладкой ванили.

За чугунными воротами «Липок» распаренного бегом Алексея едва не сбила прогромыхавшая карета на высоких рессорах, с золоченым гербом на дверцах. В ней сидела седая матрона с густой, как ночь, вуалеткой, скрывающей половину лица. На козлах плечом к плечу с кучером – выездной лакей с холеными пышными баками, в цилиндре с позументом и при ливрее с рядом блестящих пуговиц; сзади, на запятках, стояли еще два бритых лакея в длинных пурпурно-золотых ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами. За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт в темной шинели с бобром и в треуголке с белым плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узкой пролетке.

Переведя дух, Кречетов огляделся: в шагах тридцати от него галдело извозчицье племя, штурмующее богатых ездовых и не удостоившее его даже своим вниманием. Перепрыгнув через сугроб, Алексей решил сбежать вниз на разъезд, что был неподалеку и где можно было за гривенник добраться до дому, как слух его обжег пугающе знакомый голос:

– Эт-то что за фокус?! А ну немедленно остановитесь, воспитанник, и ко мне! Какая наглость! Виданное ли дело!!

Кречетов обмер, точно егохватило громом. Спина враз стала сырой, ноги чужими. В голове мгновенно вспыхнули и пролетели картины возможного наказания за «самоволку»: его, как пить дать, засадят в карцер, оставят на месяц без отпуска, а то и принудят еще в придачу неделю дежурить по корпусу – натирать мастикой паркет с перволетками, что для «старика» его выслуги – великий позор.

А между тем этот властный, не терпящий возражений, с характерным грассирующим ферматным «эр-р» голос принадлежал, как назло, ни больше ни меньше, самому директору училища господину Соколову, к которому четыре года назад Алешку за руку привел Злакоманов. Михаил Михайлович (или «Мих-Мих», как прозван был потешными глава училища) был человек степенный, рассудительный, даже улыбчивый, но с закидливостью и той редко встречающейся у людей чертой, когда из ничего, казалось бы, на пустом месте, мог вдруг взорваться феерическим ядром и с беспощадной казарменной жестокостью наказать как воспитанника, так и педагога. Один плюс к этому обстоятельству заключался, однако, в такой же быстрой отходчивости Соколова. Вчера он был лютым врагом, завтра мог угостить чаем с лимоном и помочь в решении того или иного вопроса. Тем не менее душу Кречетова этот аргумент сейчас согревал мало.

– Эй! Вы оглохли?! Немедленно доложите, милейший! Ах ты, мер-рзавец! Ну я тебя! – ближе и громче прозвучал налившийся раздражением голос.

Счет времени пошел на секунды. Алексей на миг обернулся в сторону невесты откуда взявшегося Соколова, скроив при этом невообразимую обезьянью рожу, свистнул «сивого дурака» потрясающему тростью Мих-Миху и ловко махнул через высокий снежный бордюр,

набросанный дворником. Вскочил без «здрасьте-извольте» в проезжавшую рысью пролетку и крикнул в ухо лихача: «Жги на полтинник! От смерти летим!»

– Пошел! Пошел, стервец! – зычно заорал ямщик и так надал хлыстом вороного, ровно за ними и вправду неслась по пятам крылатая смерть.

Не доезжая двух кварталов до училища, Алексея окольцевала другая тревога. Денег в кармане было в обрез: два двугривенных да чутков медяков. С таким добром в лихие сани не садись – вылетишь пробкой, костей не соберешь. По таким грошам лови помойного золотаря с хромым «кабысдохом» да шагом труси по обочине.

– Здесь придержи, братец, – как можно увереннее распорядился он.

– Тпр-р-ру, черт окаянный! Тпр-ру-у, змей! – натягивая расцвеченные латунной клепкой вожжи, гыкнул на разлетевшегося рысака ямщик. – Да стой ты, зараза, мордой торкаешь! Шас я тебе продую ноздри!

Завизжали, заплакали полозья, вразброд трякнули бубенцы под дугой, пролетка обиженно заскрипела, дрогнула и остановилась возле покосившегося колодца.

– Пошто так, служивый? Кажись, не доехали? Тебе како место-то надо? – удивилась схваченная инеем черная борода и кольнула недоверчивым взором озябшего седока.

– К тетке зайду... Тут недалече, давно обещался... – легко соврал Кречетов, крепко стыдясь сознаться ямщику в отсутствии денег.

– Тьфу, еть вашу мать! Ну, так я и думал! Вот и вози вас, щеглов! – зло матькнулся сквозь редкие зубы ямщик. – Я ведь за полтину рысака жарил. Тамось у «Липок» без почину рысил... – завел свою застуженную песню ямщик.

– Сколько с меня? – Алешка сунул для форсу руку в карман, в которой и без того давно уже были зажаты все его деньги.

– А сколько не жаль, паря... Овес нонче в цене. Плюсуй за скорость, чай, не на кляче мерз... Ты знаешь, почем рысак сей? Тут ить ковань я спымаю, по твоей милости? Назад-то порожняком пойду.

– Тогда держи двугривенный и помни мою щедрость. – Кречетов с достоинством бросил в лопатистую ладонь серебряную монетку.

– Да ты не шутишь ли часом? Это ж грабеж! – выкатив от возмущения свои хамовитые оловянные глаза, зыркая то на двугривенный, то на невозмутимого пассажира, задыхаясь от жадности, прохрипел здоровущий детина.

– Радуйся, что я при тебе, дядя. А то ведь знаешь, как бывает: везешь, везешь, глядь – а седачок прыг с саней, шмыг во двор, да в проходные ворота юрк! То-то, мотай на ус.

– Ах ты, сучонок! Блоха на аркане! Я-ть тебе сейчас покажу, сопля ты синяя, «прыг» да «шмыг», скок да поскок! – взревел вконец ошалевший от прыти юнца ямщик. Его тяжелая рука хотела с плеча сгрести Алексея, но... поймала лишь воздух.

Кречетов в мгновение ока слетел с седушки и, подскочив к вороному, что было силы тыкнул его в курящийся паром круп Митиным перочинным ножиком, который по-прежнему, как талисман на счастье, таскал в кармане.

Жеребец, отродясь не ведая таких «цыганских» шпор, взвился на дыбы, черным пламенем разметав гриву, щелкнул зубами по кованым грызлам и, содрогаюсь каждым мускулом, бешено швыряя ошметья снега под передок, понес, как вихрь, под гору орущего на него благим матом ямщика.

– То-то народ попугает, лихач! – присвистнул вдогон Алексей. – Пошарахается нынче от него и мужик, и баба. Завтра весь берег трещать будет про полоумного ямщика, вот потеха.

* * *

Продрогнув до костей, напрасно кутаясь в холодные полы шинели, он поспешил, скользя и спотыкаясь по скрытым снегом неровностям, почти ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Зимняя темень сгустилась, похвастать масляными фонарями эта часть города не могла: только двурогий месяц да редкая свечка в оконце – вот и весь свет. Ко всему, как нарочно, повалил густыми, разлапистыми хлопьями снег и сквозь его живую завесу способно было разглядеть разве вытянутую перед собой ладонь. В какой-то момент ему даже стало не по себе – вокруг стояла полная тишина, ни голоса, ни лая собак, безлюдье и белый снег, переходящий в невидимую и неведомую даль. И если б не твердо знать, что ты на улице, то без труда можно представить, что ты был застигнут бураном в степи.

Впереди показался нужный Печной проулок, Кречетов свернул в него, перебрался через сугроб и порысил вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми до утра наглухо воротами. Подслеповатые окна кое-где отсвечивали желто-красными рябинами лампадок. Беззвездная ночь, немота, сон беспробудный, только где-то на задах огородов забрежал сдуру, но быстро умолк сторожевой пес.

Наконец показалась подъездная площадь, а сразу за нею проступила ограда «потешки». Остановившись у деревянного уличного фонаря, запыхавшийся Алексей отдышался, перекрестился, охлопал шинель, задрал голову. То, что это был фонарь для освещения, можно было только догадываться: он освещал лишь собственные стекла, с четырех сторон залепленные сырыми хлопьями снега.

Вдали, на пристани одиннадцать раз ударил колокол. «Бог мой... уже двенадцатый час!.. – У Алешки заныло между зубами. – Ну, брат, будет тебе белка, будет и свисток».

К своему окну Кречетов прокрался со стороны палисадника. На центральной аллее можно было столкнуться нос к носу с дежурным, сторожем или Чих-Пыхом – известным боталом, который последнее время, приняв свою дворницкую «дозу», частенько оставался покалякать до утра в кочегарке у дяди Федора.

Оглядчиво осмотревшись, Алексей забрался на приступок и, держась за карниз, условным стуком в окно, дал о себе знать. За стеклом тут же качнулась портьера и появилось близоруко вглядывающееся в темень лицо Гусаря.

– Лексий, ты?

– Я! Я! Открывай же, черт! – замахал ему свободной рукой Кречетов.

– Ба, да ты як дид-снеговик! Як тот сугробень будэ...

– «Будэ»! «Будэ»! – осторожно спрыгивая с подоконника, согласился Алексей. – Вот уж кому работенки нынче Бог подвалил, так это Чих-Пыху... Не один день лопату мозолить будет. Ты один, что ли, кукуешь? Юрка-то где?

– В лазарет снесли хлопца, мамо с батькой до него приезжали с ридного хутору. Дак то понавезли гарно, малэнько ни на взвод. Так то ли он затравился чем, то ли обожрался с голодухи поперек живота. Ой, да зачиняй же окно, Кречет, будь ласков, а то я кажу, уже взмерз, як та сосулька...

– Ладно, не околеешь. – Алексей плотно притворил раму, щелкнул запором, задернул портьеру. – Ну, как поверка прошла? Сухарь не хватился?

– Ни даже ни... Усё тыхо, як у склепе. Ты-то как? Ну! Вскажки трошки. – Сашка, помогая принять шинель и шапку, горел нетерпением послушать историю «самоволки». – Нет, погодь, я прежде тоби кипятку сварганю, вмэрз ты дуже...

– Нет, ты сам погоди. – Алексей подошел к Сашке, растирая красные с морозу уши. – Ты русский язык-то собираешься когда учить?

– А як же! – Гусарь дружелюбно блеснул белыми зубами, такими ровными, словно они были отрезаны по линейке. – А как я, по-твоему, роли учу, на хохляцком, що ли? Рад бы, да на нем, гарном, никто не пишет... разве что Гоголь...

Уже за чайком, вприкуску с Юркиными трофеями – не пропадать же добру – Кречетов в подробностях поведал все от начала до конца другу. Сашка слушал его, наострив уши, сверкая блестящими, словно эмаль, голубыми глазами, и тихо прихлебывал из глиняной кружки, покуда Кречетов не дошел до приключения на ледяной горе.

– Ужли так славна та дивчина была на катушке, как ты гутаришь?

– Краше не видел. – Алексей, отставляя пустую кружку, с готовностью перекрестился на образок, что висел в красном углу их обители.

– Ох, а у нас на Полтавщине як гарни казачки, брат! – воркующим голосом вставил Сашка и закатил глаза. – Кровь с молоком! Глянешь – спивать хочется... Так бы и жизнь загубил, щоб тильки улыбкой тебя одарила.

На время оба примолкли, отдаваясь своему воображению. В комнате горела, как и полагось после отбоя, лишь маленькая лампадка, и слабый золотисто-медовый свет мягко скользил по стенам, бросая странные тени на лица Алешки и Сашки.

– Вот глянь. – Кречетов осторожно достал из-за пазухи, точно то была хрупкая статуэтка, беличью муфточку. – Ну, как тебе? Правда, хороша? – все так же шепотом спросил он мнение друга.

– Дай заценить.

Гусарь протянул руку, но Алексей не позволил ему дотронуться до своей реликвии, а только поднес ее ближе, чтобы тот смог ощутить сладостный запах ванили.

– Да. Мило пахнет, особенно... по-ихнему... – с пониманием кивнул Александр, мечтательно всматриваясь в девичью муфту. Его лицо выражало то же просветленное настроение и радость, что и лицо Алексея. – Должно быть, и вправду жар-птица, раз ты голову потерял, – продолжал Гусарь принимаясь к исчезающему тонкому аромату.

– А то! – торжествующе ответил Кречетов. – Думаешь, я слепой? Где вот только сыскать ее?

– Там же, где и потерял! – неожиданно подкинул идею Сашка, подмигнув приятелю и твердо заверил: – Не бойсь. Ведь у тебя есть я. Пошукаем – найдем. Право, не иголка она?..

К стене опять пиявкой прилипла густая уродливая тень, отбрасываемая большущим, похожим на гроб шкафом, но Алексей, каждодневно смотревший на этот траурный силуэт перед сном, нынче не удостоил его вниманием. Он лежал и смотрел в потолок, а грудь его согревал теплый, ласкающий мех. И для него в эти минуты, казалось, исчезло все прошлое, настоящее: и вечно мрачный и жалкий, сломленный водкой и неудачами отец, и нервно постукивающий стеклом по жилистым икрам месье Дарий, и монотонный режим театрального училища, и мрак обид, жестокостей и оскорблений.

Невнятные и туманные были грезы Алексея, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Каким-то шестым чувством гадал и думал он о себе, о прекрасной незнакомке, вспоминная благородный абрис ее лица, ее длинные темные ресницы, прикрывавшие чуть заметную лукавую улыбку бирюзовых глаз, читавшуюся под юбкой стройную с высоким вземом ножку, и интуитивно сам себе задавал вопрос: не есть ли эта наметившаяся красота, видимая глазами, только невинный залог расцветающих прелестей, дарованных ей природой? Потом он вспомнил себя, стоявшего там, у ледяного катка, и глотавшего соль подавленных слез своей неудачи. И ему стало искренне жаль себя.

– Ну, будэ тоби думку кохать о ней. Що ты, ей-богу, як тот бурсак о панночке... Дальше-то сказывай, що приключилось с тобой. Мэни так и подмывает узнать, так и крутит, яко того мыша о кильце ковбаски. Ну?

Алешка без затей рассказал все до конца, усмехнувшись случаю с лихачом, ощутив при этом, как здорово ссадил локоть, выскакивая из саней.

– Ну, ты выкинул номер! Уморыв мэни. Це лиха загогулина! Ох, Лексий, дывысь, жди поутру бури! Уж ты не хуже мэни бачишь, Соколов так сего дела не спустит. Нагрянет собственной персоной.

– Глупый ты, Сашка, просто дурак. Да как же он спознать меня сможет, коли я «рожу скроил» не приведи господь, да и видел-то он меня разве один миг, а так все спиной да боком...

– Так-то оно так, да тильки Мих-Мих, – Сашка покачал головой, темнея глазами, – усех розгами сечь прикажет... Що ж тогда спивать будэш?

– Ну, ты смола, Гусарь, а еще друг. Липнешь с вопросами... и без тебя тошно.

– Да як же ты хотел, брат? Без вины виноватые наши все будут... Потешные не простят...

Алексей как булавкой кольнул взглядом Гусаря, болезненно сморщил нос, сжал кулаки, но ничего не ответил.

Больше они не проронили ни слова. Через час-другой после Сашки заснул и Алексей. Кроткий покой и безмятежность легли на лица друзей, перед которыми еще только начинала открывать свои двери жизнь.

Глава 7

Утро выпало, как и обещал Гусарь, горячее – только держись! Дежурный мастак, ни свет ни заря оповещенный верховым посыльным от Соколова, обежал все палаты, насили сорвал потешных из теплых постелей и сейчас, стоя у гардеробной, орал во весь голос:

– Живее! Живее, черт вас подери! Сам едет! Сам!!! Ну, я вам, сучьи дети, покажу «царицу муз»! Ну, я вам!..

На перволеток эти угрозы и жгучие «поцелуи» аршинной линейки возымели должный эффект. Пугливый грохот их каблуков сотрясал коридоры училища, бытовки и мойки. «Старики», которым до выпуска оставалось менее года, напротив – хмуро, с достоинством, как молодые львы под бичом дрессировщика, – с нарочитой ленцой заправляли постели и шли умываться, будто угрозы и крики дежурного их не касались.

Между тем дежурство было Воробьева. Он отличался суровой требовательностью и рьяной службистской строгостью. О нем в потешке говорили мало и темно. Но все знали, что прежде Воробьев служил в кавалерии, не то в уланах, не то в драгунах, и был «списан» начальством за какую-то дерзкую неуставную выходку. Здесь же, будучи принятым на службу в училище, «Воробей» давал уроки верховой езды и фехтования. Однако помимо этого он с легкостью, не скупясь, раздавал и аресты, и карцеры, и дневальства вне очереди, и розги... Все эти «награды» и «премии» обильно сыпались на головы потешных в «воробьевские» дни с простой армейской четкостью и ясностью: «Воспитанник Лямкин, три наряда вне очереди! Будьте любезны, голубчик! Ать-два!»

Ровно в девять с боем часов, в сопровождении инспектора училища Егошина и месье Дария, в училище вошел мрачный, что громовая туча, директор Соколов. Вокруг них челноком замелькали снующие мастаки и служки. Затем все замерло, и грянуло традиционное слаженное приветствие потешных, после чего Воробьев сдал рапорт начальству.

Длинная шеренга воспитанников вытянулась в струнку и с мучительным волнением ожидала своей участи. Такое грозное созвездие «отцов-вершителей»! – потешным приходилось видеть не часто. Ясно было, как день, что причиной этому было что-то из ряда вон... Но что?! Все как один прислушивались к биению своих сердец и к тихой переброске фраз начальства.

У Кречетова засосало под ложечкой, пальцы сделались влажными, во рту пересохло. Он прекрасно видел балл настроения прибывших, видел, сколь серьезны и сосредоточенны их лица. «Господи, спаси и помилуй!» – мысленно умолял он судьбу, пытаясь избежать неизбежного.

Алешка не пропустил, как по чуть заметному кивку Воробей подбежал к Мих-Миху, что-то уловил директорское, краткое, с готовностью дернул четким косым пробором головы и начал по алфавиту выкрикивать фамилии воспитанников: «Алпатов, Афанасьев, Борцов, Гаврелюк...»

Когда докучливая переключка завершилась, Воробьев доложил чин по чину директору, что перед его глазами присутствуют положительно все, за исключением двоих, что находятся в лазарете, и еще одного второгодка, который третьего дня был отпущен домой, в уезд, по причине смерти его родителя.

– Выходит, все остальные изволят быть? – еще раз уточнил Соколов.

– Так точно, Михаил Михайлович! – молодцевато, чуть ли не отдавая честь, отчеканил Воробьев. – Ежели угодно, прикажите... рад стараться...

– Благодарю, голубчик, благодарю, и право, Юрий Андреич, поспокойнее... здесь все же не там... гражданское заведение. Что ж, давайте пройдемся, господа... а я погляжу...

И Михаил Михайлович, в шубе нараспашку, заложив руки в перчатках за спину, медленно в сопровождении свиты двинулся вдоль фронта, пристально вглядываясь в каждое лицо,

каждую пуговицу, пряжку, каждый ремень. И эта медлительность, это пугающее высматривание в каждом лице чего-то... непонятные приказы тому или иному воспитаннику повернуться «кругом», «направо», «налево», пройти туда-сюда, – все это придавало особенную зловещесть происходящему и сеяло в юных душах панику. Можно было подумать, что среди них искали преступника или переодетого в училищную форму беглого каторжника. Настораживало еще и то, что никто не говорил, в чем причина сего досмотра, и только двое из шестидесяти человек знали, в чем дело, знали, но молчали, как камни.

Так и не сумев с первого раза дознать ослушника, Соколов затребовал у Воробьева список тех лиц, которые вчера были удостоены «отпуска». Список не замедлил себя ждать. Воробей, как маг-чародей, точно зная, «что почем», выудил его из отворота рукава служебного кителя и, спешно развернув бумагу, подал ее директору.

– Рахлин, Ситюшкин, Коняев, Кречетов, Вершинин – два шага вперед!

У Алексея оборвалось сердце, желудок похолодел, точно в него бросили кусок льда, когда он вместе с другими вышел из строя.

– Был вчера на бульваре, в «Липках»? Часиков эдак в десять? М-м?

– Никак нет, господин директор! – крепче алея щеками и шеей, не зная, куда деть свои руки, выпалил Ситюшкин.

– А где? Что жмешься, как девица? В глаза мне, в глаза!

– У маменьки, на Семинарской³³, где Бабушкин взвоз.

– Эх ты... «у маменьки, на Семинарской»... Смотри у меня! – Соколов брезгливо поморщился, переходя к следующему.

Кречетов едва не выдал себя, когда мелкие серо-зеленые, как каменные бусины, глаза Мих-Миха сначала мельком прокатились, а потом прикипели к его лицу, точно нашли искомое.

– Что так бледен, любезный? У тебя жар?

– Никак нет, господин директор. В здравии.

– Пожалуй, мерзость какую вчера пил? Мутит?

– Никак нет, господин директор.

– Хм. Свежо предание, да верится с трудом. Знаю я вашего брата... любите поиграть с рюмкой. – Соколов неожиданно широко развернулся, охватывая строгим взором весь строй воспитанников. – Водка и вино – гибель и грех. Где пьянство – там разврат, а где разврат – там и кончилась служба, и умер человек для Отечества. Пьют от тоски и скуки бездарности, фаты и моты, мерзавцы и неудачники, а перед вами не за горами весь мир! Так будьте веселы и пьяны без этого зелья. Однако уморили вы меня своими затеями да загадками, – выдерживая глубокую ноту и снижая набранный пафос, продолжил Михаил Михайлович. – Да-с, я полагал, среди вас нет ничтожных лгунов и трусов. Но вижу, досадно ошибся. Жаль, что среди вашего братства живет подлец и мерзавец, коий заставляет своих учителей и товарищей краснеть за него и бросать, заметьте, на каждого тень подозрения. А посему я последний раз спрашиваю: кто из вас пятерых, – Соколов, тяжело ставя ногу, прошелся перед воспитанниками, – изволил вчера быть на бульваре после девяти часов и на мой голос позорно бежал, как вор, как мелкий трактирный заяц, стащивший на рынке курицу? Ну-с, так какой болван допустил сию пакость? Ты? Ты? Или ты? А может быть, ты? – Указательный палец, затянутый в черную кожу перчатки, как жезл правосудия, касался груди каждого, на ком останавливал свой взгляд директор.

Кречетов задыхался в отчаянье: «сказать – не сказать». Уж более не страх перед розгами и карцером съедал его самое, а стыд, жгучий бесконечный стыд перед друзьями и наставниками

³³ В 1820-е гг. на углу Б. Сергиевской и Бабушкиного взвоза находилось здание духовного училища, называвшееся по старой памяти семинарией, и Бабушкин взвоз официально назывался Семинарской улицей. См.: Старый Саратов. Изд-во журнала «Волга», 1995.

душил его совесть. Загнанная в угол, она металась, как птица, не находящая спасительной дверцы из клетки, в какую попала.

– Так, значит, упрямимся? Молчим, будущие господа актеры? Хм, это прискорбно. Увы, нам ничего не остается, как принять известные меры, – решительно и сухо подхватил Соколова инспектор училища. По-птичьи склонив подвитую, слегка напыженную голову, он окинул молчаливую шеренгу боковым, чуть раскосым взглядом и с презрительным равнодушием завершил: – Юрий Андреевич, распорядитесь, голубчик, чтобы каждый пятый получил по двадцать пять «розочек». Не доходит через голову, дойдет через тело.

В следующую секунду, как это часто бывало в училищах, объявился и сам виновник.

– Это я, господин директор! Прошу простить меня, господин директор, – громко почти выкрикнул Алексей и сделал еще шаг вперед.

– Кречетов? Ты? – раздался изумленный, полный разочарования и досады голос месье Дария. – Как же так?... Надежда училища...

– Полноте, mon cher, и на солнце есть пятна. Ваш выскочка попал как кур в ощип. Tant pis, mes amis³⁴. Он просто bouleverse³⁵, – все так же, с подчеркнутым равнодушием, воткнул инспектор училища. – Стоит ли обращать внимание на эти bagatelles?³⁶ Как говорится, на воре и шапка горит.

– Одну минуту, господа! Одну минуту! Дайте-ка я еще раз поближе взгляну на этого пащенка...

Михаил Михайлович сердито крикнул в кулак и повелительным жестом руки остановил Воробьева, готового исполнять распоряжение инспектора училища. Быстро подошел к Алексею, еще раз покрутил его и особенно сурово воззрился в лицо. Все замерли, тишина упала, что в склепе.

Кречетов вздрогнул, ощущая, как холод забирается под его рубаху, глаза Соколова зажглись недобрым огнем. Колючие, с рыжцей, усы заходили. Он, очевидно, еще сдерживался, теряясь в неуверенности, и вдруг вовсе рассвирепел:

– Ты что же, мерзавец?... Издеваться надо мной? Бунтовать?! Ты осмеливаешься мне смеяться в лицо?

И ровно ища поддержки у своих коллег, Михаил Михайлович, бросая взгляды на них, возвысил голос:

– Неправда, господа, все неправда! Он лжет, там... на бульваре мне встретила совершенно другая рожа.

– Делайте, что хотите, но там был я! – теряя самообладание, выпалил Кречетов. – Я скроил такую рожу, чтобы вы меня не признали, господин директор!

И тут, нарушая все приличия субординации, Алешка блестяще повторил номер с гримасой. Секунду-другую все обмерли, испуганно глаза то на директора, то на ослушника, продолжавшего стоять с «обезьяньей рожей».

И вдруг ошеломленный Мих-Мих, скакнув бровями, прыснул в платок, а за ним грохнула и вся «потешка»: смеялись воспитанники, мастаки, гувернеры и служки, смеялись маэстро Дарий, инспектор и Воробей, смеялся и сам Алексей, ощущая при этом великое облегчение. Камень с наболевшей души был сброшен, и жизнь вновь казалась прекрасной.

– А ну подойди-ка поближе, храбрец, – промакивая платком слезы, сквозь эхо смеха сказал Соколов.

– Простите меня, господин... – начал было Алексей чуть дрогнувшим голосом, приближаясь к начальству.

³⁴ Тем хуже, друзья мои (фр.).

³⁵ Совсем ошалел (фр.).

³⁶ Пустяки (фр.).

Но директор отмахнулся платком, красноречиво давая понять, что он не желает никаких объяснений.

– Храбр ты больно... Алексей Кречетов, но знай: не всяк раз смелость города берет, в особицу в нашем деле, на службе. Гляди впредь, можно и головы не сносить.

При этих словах Михаил Михайлович потрепал воспитанника по щеке. Но в голосе его и прикосновении Алексей почувствовал неподдельную теплоту.

– Что ж, милейший, простить я тебя прощаю, однако от наказания... сам понимаешь... освободить не могу-с... Не имею права... Послабку дам для других. Какой же мы покажем им пример с тобой, Кречетов, а? Разделяешь?

Алексей согласно кивнул головой, а директор училища после этого протянул свою белую холеную руку.

Кречетов склонился, чтобы поцеловать, но Соколов отдернул ее, затем вновь протянул и крепко, по-мужски, пожал воспитаннику руку.

* * *

Уже коротая свои часы в карцере, Алексей в полной мере испытывал все его прелести. Голову юноши штурмовали мысли. Они, как пчелы, залетали в улей и жалили его самолюбие. Алексей откровенно страдал от случившегося, мучился и терзался обидой на весь мир. Да, он согласился с доводами Соколова, но не мог простить его буквоедства, не мог простить отсутствия великодушия, на которое он рассчитывал где-то в тайниках души. Увы, просто он еще не пережил того юного, по-козлиному упрямого возраста, когда разумный наказ или благожелательная строгость столь легко принимаются за пощечину, оскорбление и вызывают ярый протест.

Радовало лишь одно: потешные были глубоко признательны его поступку и таскали из трапезной в рукаве передачи – кто что... Оно и понятно: Кречетов мог и не сознаться, никто бы и не подумал на него, но порот розгами был бы каждый пятый.

Тем не менее на третий день заключения в опаленной душе Алешки, униженного и страдающего от боли полученных розог, передумавшего множество «за» и «против», глядевшего на свою руку, которую пожал сам Михаил Михайлович Соколов, случились метаморфозы. Этим жестом доброй воли, этим рукопожатием директор театрального училища по всему не только отпускал тяжелый дисциплинарный грех, но и демонстрировал, как порядочный объективный человек, свое невольное уважение к сему «храбрецу», не побоявшемуся сурового наказания, а более сумевшему защитить человеческое достоинство своих товарищей. И Кречетов, пусть подсознательно, пусть не вполне отчетливо, но все же тронутый этим прощением, ощутил, что с этой ступени между ним и директором, между ним и другими наставниками, между ним и потешными установились невидимые, но принципиально иные, новые отношения, и что он в их глазах неизмеримо вырос и уж совсем не тот Алексей Кречетов, что был прежде.

Между тем он и сам понимал, сколь непросто было такой всеми уважаемой в городе величине, как Соколов, снести и забыть его наглый фортель. За такое «художество» можно было в два счета лишиться места в училище, однако судьба и тут благосклонно обошлась с ним. Что ни говори, а Кречетов был первым в училище, надеждой маэстро, а значит, и всеобщим упованием учителей. А те по справедливости гордились славным выводком своих породистых птенцов – пылких и храбрых до дерзости, но удивительно послушных в мудрых руках, искусно соединяющих милость с высокой требовательностью.

Глава 8

Однако юность брала свое, оставляя в памяти доброе, светлое, предавая забвению темное и плохое. Вновь своим чередом тянулись занятия: Слово Божие сменялось французским, французский – этикой, этика – «специальностью», где месье Дарий продолжал учить своих подопечных трудиться на полную выкладку, без дураков, умело держать позицию и блестяще сохранять форму. В театре теперь приходилось играть все более, и случился день, когда его, Кречетова, впервые в жизни вызвали отдельно от всех исполнителей.

Растерянный и восторженный одновременно, весь волнение, он слушал в кулисах, как публика скандировала «Кречетова!», покуда свои же не вытолкнули его на поклон.

Задышавшись от радости и смущения, оставшись один на один с темным провалом зала, он слышал неумолкающий, как водопад, гул голосов, пронимающий до слез треск аплодисментов и бодрящие душу выкрики: «Браво!», «Бис!».

Алексей кусал губы, сдерживая близкие слезы. Нет, он не видел ни боковых лож, соединенных тремя ярусами других лож, ни расписного плафона, ни колосников для подъема декораций, ни занавеса, ни самого зрителя. Лишь один огромный черный зев, дышащий овациями и восторгом. Давалась опера Мейербергера «Роберт-Дьявол», именно она вознесла Алексея, подтвердив слова великого Дидло, которые любил повторять его маэстро: «...Мы, трудолюбивые дети Аполлона, беспрестанно должны пролагать новые дороги на пути искусства нашего, беспрестанно стараться расширять круг действия и бороться с преградами, на каждом шагу нас удерживающими...»

После «Роберта-Дьявола» Кречетов был обласкан вниманием. Публика его обожала. И он искренне радовался каждой случившейся роли, однако по большинству все эти роли являлись балетными дивертисментами, тогда как душа Алексея все настойчивее просила и требовала драматической игры на сцене. Его все более захватывали мелодрама и опера, водевиль и комедия, словом, все те живые картины, где, кроме отточенного до автоматизма танца, были еще момент и право импровизации, где звучала характерная живая речь, где внешняя пластика, темперамент и мастерство балетного танцовщика гармонично соединялись с голосом, с более естественным и простым гримом, костюмом и собственно с сюжетным рисунком.

И пусть эти все слуги и управители, извозчики и архивариусы, мещанские или купеческие сынки, калеки и нищие не шли в сравнение по своему престижу и блеску с датскими принцами и итальянскими маркизами, рыцарями и шевалье, которыми был переполнен балетный репертуар, пусть все эти лапотные ямщики и квасные зрители порой и появлялись в крошечной сценке всего на несколько минут, тем не менее они были столь разноплановы по характерам, по возрасту и роду занятий, что трогали сердце Кречетова. Именно на таких героях, как казалось Алешке, более понятных русской душе, словно в фокусе увеличительной линзы, и сосредотачивались разнородные страсти и чувства зрителя.

Как бы там ни было, а грудь Кречетова переполняла гордость. И он крепко скорбел, что ни любимая маменька, ни отец, ни Митя не присутствовали на его триумфе. Особенно обидно было за Дмитрия, потому как старший брат с младых ногтей был самой важной фигурой в его жизни. Увы, встречи их были крайне редки... Это были особые, по-праздничному радостные дни, когда в частокле правил жизни им удавалось найти брешь, выкроить время, по-братски обняться и свободно, без всяких условностей, отвести душу за разговором. Что говорить, если даже преданный, все разделяющий Гусарь, и тот не входил в рамки их кровного доверия.

Как ни странно, первым его воспоминанием о брате было отнюдь не детство, не отрочество, а почему-то самый канун юности, когда Митя, окончив гимназию, поступил в Мариинский институт, на юридический факультет. Маменька на загодя отложенные сбережения справила ему должную форму, довольно простую, но в глазах Алешки исполненную великолепия.

Он, не скрывая прилива чувств, побежал к Мите, когда тот, радостный, явился после зачисления домой, и брат прижал его к своей груди, на которой сверкал скромный рядок медных пуговиц. Именно с этого значимого дня Дмитрий стал для Алексея образчиком всего, чем должен быть старший брат.

Внешне Митя был весьма недурен, но совсем иначе, чем Алексей, пожалуй, из-за более плотного коренастого сложения и более грубых черт лица. Впрочем, поэтому, а еще и потому, что Митя теперь уже каждое утро пользовался цирюльной бритвой, а его каждодневный процесс бритья являлся убедительной вершиной мужественности.

Вообще, как любила говаривать маменька, Людмила Алексеевна, «Митенька пером уродился в покойного тятеньку», то есть в своего деда по материнской линии, кубанского казака. У него была смуглая южная кожа, более темная шапка волос и полноватые губы, которые, право, не портили Митю, а придавали отчасти завышенную мягкость его лицу, что мало соответствовало истинному характеру. Он не был злым, но не был и по-глупому добродушным. Сердился редко, но если случалось, то пылко и рьяно, с алыми, как у матушки, пятнами на щеках и шее. Однако и в этих случаях был скоро отходчив, не злопамятен, и худое расположение духа быстро сменялось к лучшему. Во многом он, правда, позволял себе быть беспечным, с той приятной вальяжной ленцой, которая, как правило, придавала ему особенное обаяние в глазах молоденьких барышень, но при этом крепко нервировала отца. Впрочем, с последним после окончания гимназии у Дмитрия осталось мало встреч, а те, что по необходимости имели место, носили характер учтивой холодности и мимолетности. Митя, при всей его склонности к праздности, имел подработку, в карманах его, пусть не ахти какие, водились серебряки, и как следствие – независимость. Тем не менее, в противу настроением младшего брата, его не было сил, кроме розог, принудить заниматься тем, что наводило на него хандру и скуку: в детстве он ненавидел до крапивного зуда точные предметы, отдавая предпочтение гуманитарным; со вздохом ходил в церковь, зато рано стал заглядываться на стройные ножки, призывно шуршащие, колыхающиеся юбки и на прелестные, столь непонятные, но столь приятные мужскому глазу линии между волнующими полушариями груди.

– Что же ты, чадо, так мало в церковной жизни участвуешь? – со строгой медлительной пытливостью вопрошал на исповеди его приходской поп. – Храм в городе – пророк вечности.

– Каюсь, батюшка, запустил, – виновато склоняя голову, отвечал Дмитрий. А сам при этом, хоть убей, не мог сосредоточиться на словах священника. В голове теснились, как помидоры в кадучке, упоительные обрывочные образы: подвязки и бедра, расшнурованные корсеты, белые простыни, кружевные подушки и разметанные по ним волосы – белые, рыжие, черные, каштановые, и так без конца.

– Никак неделями не бываешь в храме? Отчего?

Митя крадче из-под бровей с неудовольствием глянул на отца Никодима: аскетичный лик его был бесстрастным, взгляд глубок и спокоен.

– Дел много, батюшка.

– Врешь! Смотри мне в глаза! То просто от лени... Ну а дома-то хоть поклоны кладешь Отцу нашему Небесному?

– Всенепременно, молюсь, святой отец.

– Молись, ой, врешь опять! Чувствую я наперед, что за молитва твоя. Ведаю, как в зеркало воды смотрю, что не истово, без души. Без чувства, не так, как надо, молитву чтишь... И думаешь, по всему, токмо о своей гадости, что подо лбом сокрыта да в руках твоих блудных, так ли?

– Да, да... Так, так... – машинально кивнул Дмитрий, со скуки пересчитывая количество плоских серебряных звеньев на цепи батюшки, но тут же, спохватившись, поперхнулся, откашлялся и горячо заверил в обратном. Но сам тут же подумал о предстоящей встрече со своей очередной милкой у Сретенского женского приходского училища, что на углу Большой

Сергиевской и Царицынской, и оттого еще пуще вспыхнул ушами и старательнее слепил внимание на своем молодом и красивом лице.

– Вижу, вижу твою истинную личину, чадо. Вон уши-то как горят, дочиста рубин, – сурово, в самый что ни на есть зря корень, глядел и прижигал священник. Затем огорченно вздохнул и назидательно молвил: – Человек должен помнить: как потребна пища, осязаемая для поддержания жизни, столь потребна и пища духовная, то бишь молитва церковная, без коей жизни духовной – никак... Сомнение и плотская похоть – вот твои два врага. Так изгоняй же их из себя, чадо, каленым железом. Помни слова отца Никодима: сии грехи не доведут тебя до добра. Остановись, ради Христа.

Дмитрий, низая наставления батюшки, как можно крепче старался не зрить ничего вокруг, кроме торжественного блеска свечей у иконостаса, древних, в золотых окладах, икон и служек... тужился ничего не слышать, кроме доносившихся с клироса слов молитвы, но тщетно – ровно черт сидел в нем и крутил изнутри свое: и вновь он видел перед мысленным взором глянцево напмаженные алые губы, пронзительно яркие ногти, горящие бесстыдством глаза, жирно подведенные тушью, подбрасываемые кверху юбки с пышными нашьлепками на задах, голые плечи, руки, груди – уж он нагладелся прежде сего восхитительного добра в летние саратовские деньки, когда в город приходили гусарские полки на маневры. То-то были истории! И от одних только этих воспоминаний по телу его пробегало приятное напряжение, объявлялась тяжесть в низу живота и что-то еще, чего он и сам не мог объяснить.

Однако, будучи в храме на исповеди, углом глаза видя серьезное лицо отца Никодима, его правильный тонкий нос, твердую, привыкшую к молитве складку рта и густо посеребренные пряди волос, ниспадающие на плечи, ему вдруг сделалось не по себе от живущих в нем мыслей. «Господи, помоги мне! Господи, помоги!» – тайно шептал он, поглядывая на светлые лики икон, но по-прежнему ощущал, что не в своей и не в Божьей власти, а в чьей-то чужой, вязкой и плотной, что пихтовая смола...

Словно читая его смятение, священник протянул ему Евангелие и, ткнув сухим перстом в нужную строку, скрепил:

– Прочти и повтори всякий раз в минуты сомнения.

– Верую, Господи, помоги моему неверию, – глухо изрек Дмитрий и посмотрел в строгие глаза. – Вы уж простите меня, батюшка, – пряча взгляд в пол, тихо сказал он и через плечо, все так же вкрадчиво, покосился на полупустую церковь, на тяжелый наперсный крест, что покоился на груди попа.

– Бог простит. Он и поможет. А теперь ответь мне, как на духу. Легче тебе становится после исповеди?

– Известно, так, батюшка, – целуя протянутую венозную руку, поторопился с ответом Митя.

– Так чаще же бывай в храме. Чаще сказывай грехи, очищай душу. Не забывай о Боге, и Бог не забудет о тебе.

После этих слов отец Никодим повернулся к аналою, затем еще раз посмотрел на него с суровым любопытством и все тем же значительным голосом дал отпущение грехов.

Уже на улице, покинув сумрачные своды церкви, еще будучи под влиянием священника и вечных слов молитвы, что порождает в груди надежду на заступничество и милость, Дмитрий определенно почувствовал, что ему полегчало, отлегло на душе за снятые грехи... Но, уже минуя второй квартал, он вновь озадачил себя вопросом: «Ужли милка моя, что является ко мне в ангельском образе, при гарусном платье с бантом и в сафьяновых сапожках, есть порождение дьявола, а не простой, милой душе и телу, дружкой? Нет, отче, это уж слишком! Никчемный вздор! Сам Господь создал нас по своему образу и подобию, и разве не ради любви? А где блуд, где любовь?... Поди разберись? Может, завтрашняя встреча – это и есть моя судьба?...» – успокаивал и не успокаивался Митя, хотя уже наперед знал твердо, что от очередной встречи

отказаться не сможет. Приостановившись перекурить, сидя на городской скамейке, он вспомнил, как было тепло и чудно тихо в тот летний вечер, едва ли не сказочно... Там, в плакучем ивняке, у самой кромки затона шелкали и заливались соловьи. Солнце зашло за резной край городских крыш и брызгало червонным золотом по нежной ряби задумчивой Волги.

«Разве я живу не как все?» – снова гадательно задал себе вопрос Дмитрий, глядя на тянувшихся к Троицкому собору гуськом людей. Он припомнил своих приятелей по гимназии, многих других старших и сверстников, с которыми проводил досуг. Решительно все они, кроме калек да обиженных Богом, до венчания не отказывали себе приударить за веселыми молодками, если на то был удобный случай... Стало быть, жили как надо, не упрекая себя в безнравственности или в каком еще грехе. А вокруг между тем, если приподнять дырявый и пыльный занавес ложной пристойности, вполне можно было узреть невооруженным глазом многое, что жило, копошилось, любило, страдало, ссорилось и дралось, смеялось и плакало, радовалось и ненавидело далеко не по канонам Старого Завета.

«Нонче и брак-то, союз двух сердец, стал так – тьфу! Как вроде безделицы, чепухи, что ли... А вся эта гниль да зараза в Европах пасется, оттуда почин имеет... От тех краев, с Запада, к нам всяку пакость ветры и несут, отсель к нам в Россею прет чертить разврат и француз-лягушатник, и немец-колбасник, и прочий содомский хам, коий, – тьфу, срам, язвить его! – готов целоваться хоть с твоей законной женой, хоть со свиньей. Хоть с чертом рога-тым! Им, гоморрьему семени, только дай волю, отпусти вожжи, – заполонят Россею-матушку, разопрнут, как шлющую девку, изурочут и доведут до петли! – вспомнилась дышащая гневом и сливовой наливкой речь одного костромского купца, с которым прежде, третьего месяца, в одном тарантасе Митя добирался из Вольска в Саратов. – Так и знай, любезный, ты малый с развитием, с пониманием – усвоишь, ежели эдак и далее пойдёшь, дадим ходу сему, не укоротим, вот крест, наши бабы – жены, сестры и дочери – без стыда и страха Божьего заведут пашни с некрещеным жидовством, засим жди конца света... Уж чего хуже?!»

Не рискуя спорить с закоренелым домостроевцем, то ли робея перед его густыми, союзно сдвинутыми бровями, то ли из-за интуитивного сознания, что плетью обуха не перешибешь, тем не менее Митя на все сказанное имел свой, весьма сложившийся взгляд. Иностранцы, летевшие как бабочки на огонь в богатую процветающую Россию на легкие заработки, как, впрочем, и торгующие на базарах аптекой и табаком евреи, татары, персы и прочие нехристи, его волновали мало, если не сказать – не волновали вовсе... «Россия есть огромна – живи, торгуй, имей антерес – жалко, что ли?» – любил приговаривать, прогуливаясь на рынке меж басурманских рядов, его покойный дед Платон Артемьевич. Но вот насчет женитьбы, насчет «картины сердца» – тут дело другое, душа его бунтовалась и взрывно требовала голоса.

Еще в те годы, когда ему было невступно семнадцать лет от роду и он обучался в гимназии, уже тогда, находясь под гипнотическими настроениями друзей, он убежденно полагал, что пробьет час, и он, впрочем, как и все другие, устроит свое семейное счастье: чистое и настоящее, взрощенное на взаимной любви и родительском благословении. Ну а пока, как в один голос твердило пестрое окружение, требуются поиск, постижение радости бытия, приобретение опыта, чтобы не быть набитым ослом, не задавать глупых вопросов, да и в конце концов иметь просто полезный, решительно необходимый для здоровья амурный опыт с женской половиной.

Митя затушил истлевшую папиросу, в раздумье достал из внутреннего кармана сюртука плоскую картонную с зеленым ярлыком коробочку, извлек оттуда свежую гильзу, насыпал в нее табаку, привычно заткнул кусочком нащипленной ваты и чиркнул спичкой. Часто затягиваясь горьковатым дымом, он никак не мог успокоиться, никак не мог взять себя в руки после прошедшей исповеди. Внутри его будто ворочался еж, колол иголками вопросов, омрачал догматами отца Никодима и раздражал собственной беспомощностью толково и четко дать на эти вопросы должный ответ. В голове его было то ясно и чисто, как в поле, то вдруг случался

такой хаос, что брало отчаяние: «А может, и вправду живу я грешно? И поделом мне муки, сомнения...»

К своим неполным семнадцати он уже не был зеленым девственником, знал женщин не понаслышке, а стало быть, являлся далеко не тем невинным юнцом, каким его считала набожная маменька, каким оставался до времени его младший брат Алеша.

Дмитрия уже не занимали полуобнаженные натуры дочерей Евы, которые случалось видеть на картинах и репродукциях в лавках старьевщиков или художественных магазинах. Холодный строгий гипс или мрамор, текучая бронза или талантливый след кисти художника теперь не теребили Митину душу. Воображение и внутренняя страсть настойчиво требовали не абстрактной наготы, пойманной автором, а наготы конкретной, живой и теплой, дышащей особенным букетом женских запахов, интонаций и вздохов. То, что можно было пощупать, почувствовать и познать. Он крепко стеснялся признаться кому-либо, что прежде, еще до девиц, еще тогда, когда они стайкой шумливых воробьев слетались на реку и крались котами до известных проторенных мест, поступки и помыслы их не были овеяны ангельской чистотой. Укрывшись в рябом сумраке прибрежной листвы, затаив дыхание и отдав свою кровь на откуп комариному племени, они подглядывали за голыми бабами, что плескались и мылись в Волге, возвратившись с покоса. Там замороженно, как дикари на стеклярус, как на чудо, смотрели они на белые, скрытые от загара бабьи груди и животы, ляжки и ягодички, спины и плечи, тугие и рыхлые, щуплые и корпусные, старые и молодые: похотливо и нервно хихикали, строили рожи друг другу, подмигивали, щипались, как гуси, при этом умудряясь детально, до ямочек, до волосков, разглядеть Божий замысел, схватить в память особенности женской плоти, о которой прежде могли лишь догадываться и спорить до хрипоты, лузгая по вечерам на лавках семечки.

Постигались на этих сходках и другие «науки». Были среди мальчишек и ребята постарше, с усами, веселые, залихватые в своей простоте и похабной грубости заводилы, на которых мальцы держали равнение. Эти завсегдатые «гренадеры» натаскивали сопляков в умение резаться в карты, играть в «чику» свинцовой биткой на деньги, полоскать зубы дешевым вином и пыхать табак, как взрослые. Они же подталкивали с хриплым смешком перевозбужденных увиденным сорванцов... давать волю рукам.

– Но... это же грех... – неуверенно, с густым смущением говорил чей-то юный рот. – Разве можно?

– Выходит, ага, Колёк? Яйца дело такое... Небось пищат у тебя? Ноют, ровно пнули по ним? Ха-ха! – с пониманием подмигнул долговязый, прыщеватый на щеках Мухин.

Подростки и вправду, глядя на голых, глянцевого от воды и закатного солнца баб, ощущали какое-то странное, инстинктивное, пугающее неумением напряжение между ног, в головах теснилась, как горох в стручке, разная чехарда.

– Так ведь грех это... рукоблудие! – вслед за товарищем вторил Митя, округляя невинные карие глаза, в которых при этом уже мелькал бесик зудливого нетерпения и неосознанного желания. – Батюшка в церкви твердит сурово, что сие так... Грозился: руки ослушника струпами изойдут, а на ладошках шерсть взойдет...

– Как на том нерадивом козле! – гоготнул Мухин, презрительно чиркая слюной сквозь широкие со щербинкой зубы. – И будешь ты у нас, Митька, с этими волосками вечно ходить, как каторжная морда с клеймом... И волос тот на руках приживется, как знак Каина, чтобы весь крещеный мир мог знать, чем ты, сукин сын, занимаешься! – ехидно передразнивая Кречетова и задавая ему звонкий подзатыльник, глумливо гоготнул Мухин и вдруг, цапнув притихших мальцов взглядом, зло бросил: – Ну, кому еще отвесить «леща», дурни? Тебе прописать, Гмыза, или тебе, Серый? Вона, гляньте. – Мухин сунул под Митин испачканный золой костровища нос поочередно свои широкие мясистые ладони. – Видишь ли чо?

Кречетов, сглатывая полынный ком обиды, украдкой покосился на них и при всех отрицательно мотнул кудрявой головой.

– То-то, телок! Уж ежели б твой поп – толоконный лоб – был прав, они у меня, родимые, давнехонько бы мохнатыми стали.

За спиной послышался обидный предательский смех приятелей.

Митя шмыгнул носом, зарделся, словно спелый помидор на грядке, и потупил глаза, а Мухин – дебелый недоросль, болтавшийся все круглое лето у своей тетки, богатой вдовы, – уже не обращая внимания на Кречетова, тыкнул в грудь пальцем стоявшего рядом Ваньку Репьева, сына школьного учителя геометрии, и покровительственно изрек:

– Да не бзди ты, Репей! Чо ты на бабу глядишь, аки на черта? – И, захлебываясь горячим шепотом, стал поучать: – У твоей Дуньки, старшей сеструхи, титьки поболее будут, да и волос на переднице погуще. Уж я-то знаю, мне ваш конюх Лукашка по пьянке шепнул. Ты, глупеня, подсеки ее как-нибудь в бане, по субботе... Я подсоблю! Она у тебя знатная, сеструха-то, Дунька... Вона гляди, Ванька, и вы все глядите, козлы, как надо шуровать... Учитесь, покуда Мухин Вован жив!

И вожак, торопливо скинув на башмаки вытянутые на коленях серые порты и исподнее, достал свое уж совсем по-мужицки стоявшее колом хозяйство и, выбрав прищуренным глазом себе молодайку по нраву, начал суетливо теревить возбужденную плоть, доводя себя до судорожного стискивания зубов, до глубокого вздошья и греховного освобождения.

Кречетов был потрясен до самых корней волос. И даже где-то испуган всем этим действием. Поражало и то открытие, что у Вовки Мухина, который был старше всего на два года, как и у Митинога отца, наблюдалась бойкая растительность, а у него, равно как и у всех остальных присутствующих, напрочь отсутствовала, и лишь легкий прозрачный пушок печалил глаз своей откровенно неубедительной сутью.

Кречетов хорошо усвоил со слов матушки и отца, что Мухин – дурной сосед, и доброго, порядочного от него ожидать не приходится. Однако когда он с дружками-сверстниками оказывался в компании Вована, то против воли и желания подчинялся ему, как магнитная стрелка компаса, и не смел уйти домой, боясь прослыть между своими трусом, а что еще хуже, маменькиным сыночком. А между тем у Вована завсегда водились деньги, московские важные папиросы и пахнущие дорогими духами славные батистовые платки, а также много разной другой, по его меркам, ценной всячины, которая из-за бедности была недоступна многим и вызывала в душах подростков глубокое уважение.

Женщины тем временем, как нарочно, закончив купание, потянулись на берег и стали шумно выходить из воды. Одни склонялись у мостков обмыть от зеленого ила ноги, другие, подойдя к оставленным вещам и косам, которые охраняла молчаливая жилистая старуха с белым платком на голове, начинали не торопясь промокаться длинными рушниками или отмахивались от докучливых, оживших к вечеру комаров.

Засевшие в кустах узколистого ивняка мальчишки тоже были варварски жалены комарьем, но времени расчесывать укусы, которыми пестрели их пыльные загорелые руки и шеи, не было, как не было его и для «сраженья» со звонким крылатым облаком.

У Мити вдруг замерло дыхание, точно его кто-то схватил за горло и крепко сдавил незримыми пальцами. Две незамужние девки, легкие и ладные, как струганные из белой липы рукой умельца ложки, резво подбежали к кустам, где схоронилась их стайка и, весело посмеиваясь чему-то своему, девичьему, принялись расчесывать широкими и густыми крестьянскими гребнями распущенные волосы.

Предсумеречный закатный свет сквозь ветки ивы дробился и дрогло ложился чудным узором из золотых и багряных капель на белую кожу. Их поднятые руки с темными полосками еще не просохших волос под мышками натягивали и без того тугие окружности грудей и вздергивали стянутые вечерней прохладой темные бутоны сосков.

Митя, вбирая эту красоту, позабыв обо всем на свете, открыл в непосредственном изумлении рот. Похоже, в этот момент он даже смутно не осознавал, что смотрит впервые на обна-

женные девичьи тела. Раньше ему никогда и в голову-то не приходила мысль коснуться рукой до сей непонятной и восхитительной прелести, но сейчас... Ласковые объятья маменьки, нечаянные, жаркие от раскаленной печи шорканья грудастой кухарки Феклы, что старательно подкладывала ему на тарелку пышных пирожков, в расчет решительно не шли. Здесь было иное, совсем новое, совсем неизвестное... То, о чем Митя не знал и даже не мог догадываться. Позже он не раз вспоминал эту картину: стройные крепкие спины, упругие ягодицы, икры, лодыжки и освещенные нежным багрянцем груди. Но интересно и более значимо было то, что ни сам Митя, ни его притихшие приятели, ни Вовка Мухин со спущенными до колен штанами, ни даже сами крестьянские девки, всецело поглощенные своей болтовней и расческой волос, не ведали, что совершенно бессознательно открывали им тайну прекрасного и желанного, молодого, здорового женского тела.

Часть 3. Гусарская рулетка

Глава 1

С тех далеких пор утекло немало воды. Дмитрий уже и не помнил, как получилось, что их обнаружили пойманные ими врасплох бабоньки. Помнил только, что без памяти зайцем петлял и скакал через кусты и крапиву, что-то кричал с другими – веселое, глупое, дерзкое, справа и слева поплавками мелькали вихрастые головы его товарищей, а вослед им несло высокое заполошное, бабье: «Ах, бясстыжие черти! Чтоб вас перекосило, поганцев! Расстрели вам в животы сердце! Экие болячки! Ну, дознаемся!...»

И сейчас, продолжая сидеть на скамейке, выдымливая вторую папиросу подряд, Дмитрий не оставлял трудить себя вопросом: «Что есть плотский грех? И грех ли вообще мои случайные связи, если об этом глаголет лишь церковь, а мир устроен совсем иначе? Ведь ежели по совести подойти, – рассуждал он, – то правда отца Никодима стоит лишь на Библии. Да, в Писании есть заповеди, о коих я знаю едва ль не с пеленок, но так ведь они и нужны, выходит, лишь на экзамене... будь то приходская школа или гимназия. Все окружение мое крутит амуры с подружками, там ли, здесь... Конец один – постель, и радость от того, и снова поиск. Но если так, то все на свете – падшие люди, кто без греха? Однако сколько мнений, сколько советов, сколько речей я по сему слышал – все сходятся на том, что это жизнь, что это вовсе и не дурно, а вполне естественно, неизбежно, и более того, весьма полезно для здоровья. Взглянуть для блезиру хоть на наш курс: где взята юбка – там победа! И поздравления за кружкой пива, и почет. Молодечество, наконец... А зачем тогда молодость? Зачерстветь, засохнуть за книгой? Да что там ломать копыя попусту, если наше попечительное правительство за этим само заботится и бдит. Взять опять же дома терпимости... Это ли не блуд? Батюшка Никодим об этом и слышать не хочет. Сразу бы уши заткнул и наложил епитимью. А между тем что это, как не государственный, возведенный в закон разврат? Нет, брат, тут ножницы будь здоров получаются. Не все так просто... Ведь кто, скрывая воротом, платком лицо, бежит по сумеркам в парадную под красным фонарем? Разве злодей, каторжник, вор иль убийца? Отнюдь, голубчик: там и купец мелькнет, и офицерский ус, и дворянский цилиндр, и мещанский сюртук, и даже... фуражка гимназиста. Вот и получается: то, что не запрещено, то можно?! Кое-кто из наших бывал там, и не раз, когда в кошельке заводилась шальная монета. Андрей Нефедов говорил, тех кокоток-потаскух врачи под строгим прицелом надзора пасут, чтобы, не дай господи, какой заразой не наградили... Оно и понятно: за этот труд плачены из казны целковики, и говорят, немалые, потому как жалованье доктора при этой богадельне куда как важнее будет, чем щуплое жалование наставника Слова Божия».

И еще пример: Зуев Олег, поимевший свою первую женщину из горничных в четырнадцать лет, на Святки божился при всех выпускниках, что-де знает весьма именитые дома в Саратове, где матери, пекущиеся о своих чадах, по обычаю их сословия, загодя хлопчут, чтобы наследничка к усадьбам любовного акта приобщила непременно француженка, оттого как в обеих столицах всю судачат, дескать, лучшего эликсира в подобных делах не сыщешь.

«Вот и гадай после всего, грех это или нет?.. Ведь, право, сколько лошадь ни бей, ни отваживай – она, один черт, будет тянуться к овсу».

С такими растрепанными и противоречивыми мыслями он наконец поднялся с нагретой солнцем скамьи. И, понукая себя с одной стороны, напутственными словами отче, с другой... увы, так и не мог отказать себе в потребности ловить взгляды-стрелки идущих навстречу девиц. Уже на втором квартале он по обыкновению исподтишка стал заглядываться на хорошеньких милашек, которые, четко ставя ножку, с нарочитой независимостью прогуливались по бульва-

рам той особенной щеголеватой походкой, которой ходят обычно молоденькие прачки и знающие себе цену беловшейки.

Так, двигаясь по направлению к дому, Дмитрий неожиданно для себя вдруг споткнулся о непонятно как возникший вопрос: «А есть ли Бог? Ведь если Он спокойно допускает на Земле Содом и Гоморру, весь этот “правильный”, так сказать, “разумный” разврат и не наказывает за сие людей, как неустанно твердит церковь, то где карающая десница? Где ж Его сила? А может, здесь дело как раз и не в силе, а в отсутствии оной? И отец Никодим, сам того не ведая, как и вся Вселенская Церковь, верует в то, чего просто нет?.. А возможно, он и сам не верит в то, что проповедует своей пастве, и убежден лишь в том, что мы все обязаны заставлять себя верить в то, во что и сам он, и церковь принуждают верить?.. Господи свят, да что же это я?.. Что говорю, гадина? Грех-то какой великий!»

Митя испугался, что его крамольные мысли могут стать достоянием снующих вокруг людей. Он воровато огляделся – все тихо, народ был занят своими делами и не обращал на него ровным счетом никакого внимания. Однако душевный покой не наступал, и Кречетов ускорил шаг, продолжая говорить сам с собою.

«Это все, должно быть, от слабости моей духовной, от невежества... Нет, нет, так нельзя... Так уж совсем скверно! Что же, я дам погибнуть себе? Так нет же...»

Он судорожно трижды перекрестился и пошел быстрее, чем немало смутил степенно шествующего со своим семейством лысоватого, с моноклем в глазу почтового служащего.

Дмитрию вдруг представился сухой перст попа, который удивительно странно сразу напал на нужную страницу Евангелия и указал ему должную строку: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И тотчас же он до самых мелочей вспомнил золотое шитье на ризе священника, плоские вытянутые звенья его цепи, тяжелый крест на груди, серебряную величавую бороду и щербатые в двух местах зубы. Вспомнился амвон, рядом с которым стояли дьякон и певчие, вспомнились и строгие лики святых, и икона, на которой был изображен сам Христос в терновом кровавом венце, и ему сделалось страшно. Казалось, вся кровь прилила к сердцу и замерла. Он не мог вздохнуть. Лицо его теперь было красно, на щеке мелко вздрагивал мускул. «И все-таки! Неужели... Неужели это открытие принадлежит только мне? Неужели действительно никто об этом не думал, не доходил умом?..» – пугаясь своей догадки, но одновременно преисполненный волнительным торжеством момента, он бросился уж бегом вниз по улице. Насилу добравшись до дому, он вновь присел у ворот на просевшую от времени лавку: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного... дай силу...» – через краткие паузы повторял он не только тайно, но и, сам того не желая, наружно шевеля губами.

Время к сему сроку уж было обеденное. Солнце стояло в зените, и больно было смотреть на освещенные им крыши домов, закованные листовым железом, но еще не покрытые краской; зато радостно и покойно было глазеть в соседний проулок, сквозь пустынное жерло которого виднелась синяя грудь могучей реки и узкая, с зеленцой, полоса противного берега, как всегда, старавшегося слиться с бескрайней водой. Неподалеку мерно квохтали куры, по-хозяйски рылись в спекшихся от жары конских яблоках, оставленных на пыльной дороге, а рядом, гордо раздувая грудь, потряхивая спелым, как арбуз, гребнем, смешно вытягивая лапы со шпорами, вышагивал желтый петух.

– Митенька, то что же домой не идешь, мой хороший? Давно из церкви? – Озабоченный голос маменьки из раскрытого окна перелистнул страницу его состояния.

– Да, шас я буду! Что вы как всегда, ей-богу, мама... – еще не вполне уверенным голосом раздраженно откликнулся он и механически сунул руку в карман за картонной коробкой с гильзами папирос.

* * *

То был год выпускных экзаменов в гимназии, теперь же он заканчивал третий курс института, и Дмитрию исполнилось девятнадцать. Сомнения, мучительные поиски истины ныне им были оставлены и благополучно забыты. И он с легкой, отчасти смущенной улыбкой вспомнил то наивное время, когда терзался бессонными ночами мыслями о своей исключительности, всерьез полагая, что результаты его раздумий действительно представляют значимость и общественный интерес. Ответ на богоискательство теперь был для него один: Бог есть, потому что Он есть, а следовательно, надо верить и не морочить себе голову.

Между тем на дворе стояли роковые шестидесятые годы, и Дмитрий, как, впрочем, и все, кто в России мог видеть мир не только через дно рюмки, все ярче и очевиднее подмечал различные проявления укрепившегося нигилизма и расцветающих махровым цветом безбожия и отступничества.

– И где ж Он, твой Боженька-то? – частенько приходилось слышать Дмитрию обрывки подобного рода спора. – Ежели я ему кукиш, а Он мне с неба в ответ лишь одно молчание? Стало быть, послабку дасть? – прощение и согласие...

– Так на то Страшный Суд есть...

– Э-э, старая песня. То все для дураков вроде тебя, что в корзинах щи варят. Ты только присмотришься, глупая твоя голова, нонче смута в умах гуляет не только у молодых... Нонче, почитай, и пожилые, нашего года люди во всем разуверились. Эх, какими нонче снами живет Россия, ужас голимый!.. В церкву-то по привычке ходят... Ну-с, разве нет? Из одного неудобства, чтоб разве соседи не осудили... Ведь так, сосед, так... А ведь допрежде все как есть на стариках держалось. Ить гранитной основой веры и щитом православия оне были... То-то, смекай.

– Ох, да за такие речи-помыслы... не сносить головы, как наши речные бают: «за шею да на рею...», гляди, друже, гляди, чешуи от тебя не останется... Грешно живем, не по совести. Уж лучше прикуси свой голый язык...

Впрочем, все эти пересуды и обстоятельства не бередили сознание Дмитрия, он просто не трудился понимать сего, потому как новые искательства и анализ происходившего вокруг представлялись ему неблагодарным, бесполезным занятием, а попросту пустой тратой времени. Он меньше всего думал об осуждении неверия и уж совсем не разделял тех, кто с этим угарным поветрием собирался бороться радикальными мерами.

Возможно, именно благодаря такому взгляду на жизнь старший брат и был по-своему счастлив. Так, в частности, для Алешки в этом заключался один из источников обаяния Мити – в его редкой способности уметь радоваться жизни, уметь наслаждаться настоящим, а не томиться угрызениями прошлого или ждать эфемерного веселья от будущего.

Однако при всей своей карусельной неутомимости, поверхностности в отношениях и откровенной лени к насущным, рутинным делам учился он весьма сносно, на удивление родителям и самому себе. Солидные, углубленные труды он, конечно, читал по случаю, больше по необходимости, никогда не рвался на серьезные театральные постановки, зато питал незатухающую слабость к вину и веселым артисточкам из кордебалета. Весьма благоволил к легкой музыке Оффенбаха, Легара, Штрауса, Зуппе, словом, к тем опусам, где был прозрачный мотив, задорная медь оркестра и те слова текста, которые без особых затей сами брались в память и радовали своей безоблачной сутью.

Тем не менее он вовсе не являлся глупым, не знающим жизни желторотым птенцом. Еще с малых лет во всем, что имело для него значимость и смысл, Митя преуспевал. Он всегда хотел не зависеть от кошелька отца, и он не зависел. Он стремился хорошо закончить гимназию и поступить в институт, и он поступил, хотя многие сомневались в этой затее, называя

ее «самодурством» либо «самонадеянной блажью». Он жаждал иметь успех у студенческой молодежи, у женских сердец, и это тоже ему удалось на славу. Ко всему прочему, Дмитрий весьма ловко выучился танцевать игривую польку и вальс, веселую кадрили и бесшабашный гопак, что на большинство неглубоких ветреных девиц действовало магически и неотразимо. Он мог на спор перепить и уложить под стол почти любого из своих собутыльников, отчаянных выпивох, при этом отнюдь не страдая, не проклиная поутру ужасного похмелья, о котором имел счастье просто не знать, а посему колко и обидно трунил над теми, кто со стоном мучился этим тяжелым недугом.

* * *

И сейчас, радуясь морозному синеокому дню, памятуя о дружеской деликатности, что установилась между ним и Алешкой, Митя торопился не опоздать на встречу со своим младшим братом.

Разница в возрасте в три года – невелика, но случается, и она долгое время способна лежать пропастью между родными людьми. До старших классов гимназии Митя вообще серьезно не воспринимал младшего брата. Он уже бегал на бульвар слушать военный оркестр, глазеть на девчонок, а Алеша едва-едва перестал играть в солдатики, и родители собирались определить его в частный пансион госпожи Галины Кирсановой. Алешка играл в лапту, рисо-гонил с друзьями по берегу Волги с луками и стрелами, строил шалаши в тростниках, а Дмитрий, напмадив волосы, с букетом цветов спешил на свидание. Младший лишь стал ощущать тайную несхожесть девчонок с мальчишками, а старший уже сдавал экзамены в институт.

Казалось, дистанция в три года не могла быть преодолена братьями. Они любили друг друга, но одновременно были чужими и страшно далекими... Неизвестно, как сложились бы их отношения в дальнейшем, если бы не зародившаяся в Алеше страсть сочинять музыку. Позже, не раз роясь в памяти, он убеждался, что послужило их сближению – творчество. Но удивлялся более тому, что творчество явилось лишь следствием. Истинной же причиной зарождения желания созидать оказалась его первая любовь.

Дмитрий с интересом, правда, не без изрядной толики скептицизма, откликнулся на просьбу Алеши сложить вирши на его музыку. Шло время, после первого романа был написан другой, за ним еще и еще. Братья радовались своим маленьким удачам, своему союзу, и он теперь магнитом тянул их друг к другу.

Творчество для всех едино. Оно не ведает разницы в годах. Творчество, пожалуй, является единственным напитком, которым невозможно пресытиться, который всегда остается желанным.

Глава 2

Братья встретились тепло, крепко обнялись, расцеловались по-русски. По обыкновению, прошли в свободный класс, ключи от которого любезно предоставил дежуривший Гвоздев.

– У вас полчаса времени, братья Кречетовы. – Крупное усатое лицо Петра Александровича было столь просто и столь добродушно в сей час, что Алексей не удержался и с чувством пожал его крепкую волосатую руку, едва при этом не обронив: «Гвоздь, милый Гвоздь, уступил бы ты нам, голубчик, еще минут десять-пятнадцать... Ужели жалко? Ведь один черт все классы нынче пустуют...»

И надо же, Гвоздев, будто каким-то чудом или волшебным чутьем ущучив эту мысль и настроение любимца училища, обронил невзначай:

– Ну-с, впрочем, часик извольте клавиши помозолить. Только ключи после того! – снесите ко мне...

– Как водится! Всенепременно! – с готовностью в унисон заверили братья и весело зачистили каблуками по деревянной лестнице.

Когда уселись перед роялем, Алешка протянул руку, взял поданный братом квадратик свернутой бумаги, развернул. Аккуратный черный столбец нескольких четверостиший приятно порадовал глаз.

– Читай вслух, я хочу сам еще послушать со стороны, – подтолкнул его Митя.

– Так ведь нехорошо. Может, ты сам...

– И, вздор какой!

– Так значит, валять?

– Ну же!

Старший откинулся на спинку стула, а младший, напротив, поднявшись, принялся в голос читать:

Я пью, друзья, за ваше счастье:
Надежду, Веру и Любовь!
Дай Бог сердцам гореть в согласье,
Лелея трепет нежной страсти,
Пока течет по жилам кровь!
Бегут лета смятенной ланью,
Так скор их неумный бег!
Душа, остывшая к венчанью,
Судьбою предана скитанью —
Блажен один супругов век!
Судеб заветное слиянье
Вершит алтарь любви святой...
И благочинное деянье
Дарует взору любованье
Прелестной юною четой!

Алешка закончил читать. В больших карих глазах его блистали искорки восторга.

– Ну-с, каково? – едва сдерживая триумф гордости, клюнул вопросом Митя. Пальцы его так и ерзали по подлокотникам стула.

– Прелестно! Чистая правда...

– Так значит, нравится? Забирает? Ах, черт! – Дмитрий тряхнул длинными волосами. – Вот, братец, я и сдержал слово. В размер уложился, как заказывал. Бери в свой бархатный альбом, на память. А теперь не томи же, шоркни свой романсик на текст, и вместе споем.

Дмитрий живо поднялся и подошел к шоколадному боку рояля. Во всех его проявлениях ощущалась горячка нетерпения, желание быстрее услышать свои стихи в музыкальной оправе.

Алексей тоже испытывал это хорошо знакомое, зудящее чувство внутреннего ликования. Сев за инструмент, он сдержанно, с некоторой чопорностью коснулся клавиш. Братья с чувством запели, временами поглядывая друг на друга, и в эти волнительные секунды в глазах их светилось счастье разделенности и обоюдной признательности.

Романс был исполнен, но по какому-то интуитивному соглашению начинал звучать еще и еще...

Кречетовым была присуща, увы, не лучшая черта тех творческих людей, которые до оскомины смакуют свои вирши, трещат о них всюду, пытаясь всеми силами влюбить в них окружающих. Особенно ярко и выпукло это случалось у Алеши. Быть может, в силу младости? Митя в таких ситуациях испытывал неловкость и стыд, ругал затем и себя, и братца за проявленную слабость:

– Нет, Лешка, так нельзя, ей-богу. Поверь, кроме раздражения и брезгливости, у людей это ничего не вызывает... Мы не раз уже погорели с тобой из-за гнусного тщеславия, которое пиявкой присосалось в наших душах, а это худо...

Но с другой стороны, бичуя и стреноживая себя этикетом, они очень нуждались в поддержке окружающего мнения, как, собственно, любой творец. И правда, безумно сложно, мучительно постоянно притворяться, ютиться за ширмой равнодушия и независимости от оценки других.

– Что ни говори, а это вообще противно человеческой сути – жить в обществе и быть вне его, – часто повторял Митя и просил у Создателя помощи.

Впрочем, в ту встречу они еще долго упивались своим новым детищем. Обсасывали каждую мелочь, каждую деталь встреченных ими трудностей.

– А знаешь ли, лицедей, – по-братски хлопая по плечу Алексея, наваливался на него Дмитрий, – как чертовски непросто было отлить необходимые рифмы?..

– Думаешь, мне с неба свалились ноты? – в свою очередь начинал ершиться Алешка. – А поиски гармонии? Ведь необходим был свой цвет. А модуляции?

Дмитрий при таких разговорах с интересом смотрел на младшего: на его восторженный блеск в глазах, на длинные волосы, что сорочинными перьями были разбросаны по плечам, и ощущал, как сам молодец, как пил необходимую энергию и бодрую веру в их общее дело, и чувствовал, как в груди ширился близкий к родительской нежности порыв к Алешке, к его бесконечному желанию понравиться ему.

В младшем брате действительно жила и пульсировала какая-то тайная сила, которая притягивала к нему Дмитрия. Она выплескивала на него неиссякаемую любовь, преданность и родственную теплоту, скопившуюся за долгие годы возрастного разрыва. И право, не зная, как объяснить, как передать даже для самого себя свою радостную взволнованность при виде старшего брата, Алексей при этом твердо знал, что любит его как никого другого на свете.

«Умереть за ближнего при каких-нибудь исключительных обстоятельствах, – учит церковь, – менее возвышенно, чем ежедневно и втайне жертвовать собою ради него».

И братья жертвовали друг ради друга: осознанно и неосознанно, жертвовали многим, что людям, сидящим в скорлупе своего эгоистического «я», казалось глупостью и несуразным чудачеством. Митя приносил в жертву на алтарь их дружбы свое финансовое благополучие, частенько отказываясь от заманчивых предложений, а Алексей свои большие-маленькие мечты, поиски своей незнакомки и совместные похождения с Гусарем.

– Митя, – Алексей исподлобья посмотрел на пребывавшего в прекрасном расположении духа брата, – обещай мне вперед, что ответишь...

– Что за фокусы? – Дмитрий приподнял брови.

– Нет, прежде пообещай.

– Дак... не принято так?

– И все же...

– Да господь с тобой, пусть будет по-твоему... Обещаю. Что?

– Отчего ты ни разу не был ни на одном спектакле с моим участием?

Дмитрий поначалу даже растерялся, затем рассмеялся натянутым нервическим смехом, после чего неторопливо подошел к молчаливому брату и, положив ладони на его тренированные жесткие плечи, глядя в лицо, заметил:

– Скажу, как и обещал... Но не сейчас.

– Но почему? – Глаза Алексея потемнели, голос обиженно дрогнул натянутой струной.

– А тебе все так и выложи, все так и скажи вдруг, – неловко пытаясь свести разговор на шутку, вновь механически рассмеялся Митя и, неожиданно крутнувшись на месте, изрек: – Ба! Да ты, дорогой мой, только взгляни на часы. Нам стоит поторопиться! Давай, давай. Шевелись!

С этими словами он заботливо прикрыл белоснежный оскал рояля крышкой, сунул в карман листок со стихами и деловито направился к выходу.

Уже за воротами училища, отдав ключ вышедшему проводить до дверей Гвоздеву, Митя, приобняв за плечо Алексея, крепко встряхнул его:

– Будет, будет тебе, братец, киснуть. Ты краше полюбопытствуй, куда я тебя поведу. – Он загадочно подмигнул Алешке и, окликнув рысившего мимо извозчика, дернул за рукав брата: – Бежим, а то перехватят!

* * *

Еще с 1822 года в Саратовской губернии стояла дивизия гусар, четыре полка: Иркутский, Павлоградский, Изюмский и Елизаветградский; первый имел счастье квартироваться в самом Саратове, второй в Аткарске, третий в Петровске и четвертый в Вольске и их уездах. Ах, что это были за удалцы – богатые и красивые офицеры! Яркие алые, синие, белые, зеленые мундиры на них блистали золотым и серебряным шитьем. В каждом полку было по шесть эскадронов. Почти каждый год летом, когда в яблоневых садах пели еще соловьи, все полки съезжались в Саратов на маневры. С каким восторгом и удовольствием смотрели на них горожане! Зрелище воистину было захватывающее дух... У офицеров, да и у рядовых, лошади были самые лучшие, стройные, статные. И ими тоже нельзя было не любоваться. За рысаками два раза в год ездили по воронежским и тамбовским конным заводам, внимательно выбирали лучших и пригоняли в Саратов, где их распределяли по эскадронам. В губернском центре проживали генералы Леонтьев, Будберг, Глазенап; полковники Ланской, Муравлев³⁷ и другие... Эти начальники, большие охотники до лошадей и их почитатели, завели себе правило: внезапно, как снег на голову, примчаться в часть, нагрянуть в конюшню и, вынув из кармана белоснежный платок, ревниво пробовать, как чищены скакуны. После таких визитов немало голов поплатилось за свою нерадивость, кто был посажен в карцер, а кто и разжалован, – отцы-командиры шутить не любили.

Между тем лошадей подбирали по мастям, и каждый полк имел свою «рубашку». Саратовцы и гости города сразу примечали, что за кавалеристы проезжали по пыльным улочкам, будь то изюмские или павлоградские гусары. На вороных одни, на серых в яблоко – другие, на караковых со светлыми гривами – третьи и т. д.

³⁷ Старый Саратов. Изд-во журнала «Волга», 1995.

В эти летние поры у полков чуть ли не каждый день случались ученья: разводы пешие и конные под барабаны и флейты, а в отдельных торжественных случаях с полковым оркестром. Возле гауптвахты, которая помещалась в доме близ Александровского собора, игрались зори, на этой же площади делались и разводы. Кавалерийские маневры большинством происходили на площади напротив дома господина Панчулидзева. Не застроенная ничем на пространстве в длину до Лысой горы, что около двух верст, а вширь – более версты, она представляла собой прекрасную арену для конного действия.

Саратовцы знали и видели, что генералы, полковники, эскадронные командиры и офицеры были людьми богатыми, жившими на широкую ногу, даже с крикливой роскошью, в особицу по зиме, когда в город стягивались офицеры из уездных городков. Тут почти каждый день устраивались званые вечера, давались балы, и какие! Уж сколько после этого велось трескотни по всему Саратову... Гусары любили и гордились своими холеными лошадьми, но еще крепче они любили молоденьких барышень, с которыми крутили романы и устраивали проказы. Скандальных случаев было сколько угодно: кто-то у кого-то дочь увез, обесчестил чью-то невесту, а того пыльче – отбил у мужа жену. Или другой трагикомичный курьез: такие-то весельчаки-офицеры частенько навевались в гости в деревню к известной помещице, и один из них, добившись, сосватал у ней заневестившуюся дочь... Но вот беда! Когда обвенчались – жених на поверку оказался простым солдатом. А то был уговор за картами промеж бесшабашных гусар, составленный прежде в насмешку над ревнивым помещиком-отцом.

Именно поэтому суровые отцы благородных семейств строго-настрого запрещали своим дочерям даже показывать нос у гауптвахты, куда стекалось изрядно зевак всех сословий, исключая лишь женского пола благородного звания. Зато хватало других дам разнообразного толка, среди которых непросто было бы разобраться даже и местному Ги де Мопассану. Эти юбки и шляпки уверенно оттесняли барынь хорошего тона и довольно ловко подделывались под их порядочность, приличие и видимую недоступность, и, право, следовало иметь особенный зоркий глаз и изощренный нюх, чтобы суметь отделить зерна от плевел, а иными словами, разделить грешных козлиц от смиренных и целомудренных овечек. Прежде, как сказывали бывалые «ходоки до женских прелестей», делать это деление было значительно проще: так называемые «несемейственные» дамочки робели объявляться публично, и если уж отваживались выйти «на мир», то стыдливо и конфузливо жались в стороне и держались в кругу себе подобных.

– Вот поэтому, судари мои, эти бабочки полусвета завсегда были заметны и «отличительны». Теперь, увы... Совсем не та порода, не та... Цивилизация и прогресс докатились и до нашего медвежьего угла!

Так в какой-нибудь бильярдной комнате, в сизой завесе сигарного дыма, разглагольствовал хлыщеватого вида знаток и, назидательно постукивая ореховым кием по зеленому сукну, выдавал рулады:

– Нынче сии гетеры гордо, что кобры, приподняли головы и повели себя открыто, я бы сказал, даже бравируя своим ремеслом... Нынче господа, блудницы умудряются одеваться едва ли не богаче дам приличного круга! Да, да, друзья мои, верьте Кислицыну, иная Магдалина, покуда не откроет своего алого рта, легко может запудрить глаз любому из вас... да что там, даже тертому ценителю и знатоку бульварных дам...

Впрочем, объектом кощунственных гусарских осмеяний, циничных шуток были отнюдь не только доступные женщины. Эти истории в горячих сердцах вызвали мало азарта. Другое дело – добиться победы у истинных недотрог. Бывали случаи. Когда после развода офицеры и юнкера сбивались до кучи у гауптвахты, пыхали трубками, шутили о том о сем, травили анекдоты, подкручивали усы и если в это время случалось по незнанию проходить какой-нибудь благородной даме в сопровождении горничной или мальчика, то офицеры тут же держали пари, подстрекая молодых офицеров, чтобы кто-то из них, плюнув на этикет, решился

приблизиться к идущей даме и выкинуть с ней шутку. Ну, скажем, поцеловать ее при всех в губы или по-свойски хлопнуть по пышному задку, словом, что-то «соленое», из ряда вон, что в гусарских полках почиталось за невинные шалости. И, как водится, отыскивались «смельчаки», что легкомысленно нагоняли идущую незнакомку, с достоинством кланялись ей, начинали какой-нибудь незначущий разговор и вдруг, поймав ее за талию, откровенно прижав к груди, уж совсем неприлично, так, чтобы видели все, целовали ее в губы или куда успеется. После этого такой удалец спешил, как герой-победитель, в смеющийся круг друзей, и за здоровье триумфатора наполняли бокалы.

Несчастливая, как правило, не успевала одуматься, отдышаться от внезапно происшедшего с нею и, не могши дознаться в лицо дерзкого насмешника, возвращалась домой в оскорбленном состоянии духа, где с сырыми глазами отчитывалась о случившемся с нею... Тем, собственно, дело и кончалось. Пробовать же приносить жалобу, отстаивать и отыскивать свою претензию не было никакой вероятности, оттого что пострадавшая даже не ведала личности своего обидчика... Вышестоящие командиры всегда старались скрыть это недоразумение, потому что как зеницу ока берегли честь полка, потому что так было от века заведено их прадедами, да и просто потому, что сами прежде были молодыми, балагурили и учиняли подобное гаерство... Посторонних же, случайных лиц, которые могли бы выступить свидетелями, никогда не находилось... Урядники тоже предпочитали на все смотреть сквозь пальцы – с гусарами спорить себе дороже... Вот и получалось: обратиться с бумагой – выйдет пустая никчемная жалоба к тайной улыбке обидчика и к собственному конфузу истца.

Глава 3

Извозчик круто свернул с промелькнувшего проулка на улицу, которая широко и вольно бежала к Александровскому собору. Там, на предхрамовой площади, стояли, клубили на морозе паром – мордами на дорогу, возками к тротуарам – запряжки легковых извозчиков. На многие морды лошадей были вздѣваны кожаные торбы или попросту подвешены на оглобле холщовые веревочные мешки, из которых желтыми пучками небрежно торчало сено. Вопревшие савраски кормились, покуда их «владыки» согревались в ближайших чайных и блинных крутым кипятком или, закутавшись до бровей в овчинный ворот тулупа, пыхали мирно сигарками. Вокруг заиндевеливших мохнатых лошадей безбоязненно вспархивали и шныряли сотни наглых воробьев и сизарей, быстро подбирая и выклеывая из утоптанного снега овес.

– Куда мы все-таки едем? – Алеша еще раз с нарастающим любопытством посмотрел на Дмитрия, но тот, как прежде, не открывался младшему, желая сделать для него не то презент, не то сюрприз, и лишь время от времени ободряюще трепал его по колену, точно говорил: «Дай срок – узнаешь!»

Уже за собором, когда они подъезжали к знаменитой гауптвахте, из арки гостевого дома выбежали две быстроногие подружки-курсистки в меховых шапочках-«таблетках», в одинаковых шубках, подвязанные белыми, с длинными кистями, платками. Девицы хотели было перескочить мостовую наперед, но ахнули, испугались, едва не попав под копыта бойко разбежавшегося коня.

– Поберегись, красёхи! – весело гаркнул в голос возница. А у Алешки екнуло сердце, когда его глаза на скользящий миг встретились с глазами одной из девушек: румянец на щеках, яркие глаза, искрящиеся лукавой улыбкой.

– Никак приглянулась? – Дмитрий слегка торкнул локтем в бок брата, обращая внимание на его порыв.

– Нет... не она... – беззвучно слетело с губ Алексея. Он еще раз оглянулся на быстро удалявшиеся фигуры и с досадой прикусил губу.

Дмитрий не понял, в чем суть дела, только усмехнулся себе под нос и, предвкушая скорое приключение, с сознанием знатока воркующе изрек:

– Да, брат, есть еще у нас в Саратове славные ножки. Не перевелись...

– Тпру-у, дурий! – натягивая вожжи, вновь ожил извозчик и, покренив кудлатый заснеженный ворот к братьям, сказал: – Гривенник с вас, ребята, и копеечку сверху давай... Пойло для лошаденки, знамо, за счет седока.

– Да знаем, не первый год живем. Изволь. – Митя сунул в протянутую засаленную до черноты рукавицу монетки и, откинув холодный полог, стал подниматься.

– Вот ить народ каков пошел проклятуш-ший, – подбирая вожжи, вслух рассудил ямщик. – Чужих, скажем, меня со своим ведром, ни в жисть к фонтану не пустют, а за ихнее маломерное... копейку гони сторожу в будке. А тот дневным наваром с начальством делится. Вот живодеры, одно слово – драчи³⁸.

– Уймись, хватит киснуть тебе! Обиды твои беззубые, – прикуривая длинную папиросу, усмехнулся Дмитрий, пытаясь хоть как-то достучаться до нахмуренного Алексея. – Опять о ней загрузил? О своей ангельской «муфте»?

– О ней, – сухо отрезал младший и поднял узкий ворот шинели.

Сейчас Алешу как никогда раздражала всесокрушающая уверенность и ирония Мити. В сравнении с ним, начиная от обыденной жизни и кончая интимными вопросами, он ощущал себя хрупким, пронизанным неуверенностью и мнительностью. Он интуитивно чувствовал,

³⁸ Драч – человек, занимающийся убоем скота.

что во многих вопросах тоньше старшего брата, знал и то, что многое ощущает и видит более сложно и глубже, но данные качества представлялись ему не заслугой, а напротив, бессмыслицей и бесполезным началом.

«Закон, живущий в нас, наречен совестью. Совесть есть, собственно, применение наших поступков к сему закону». И сейчас Алешу истязали угрызения совести. «Как же так: я доверил брату свое сокровенное, свое сердце. А он?... смеется надо мною, как над последним мальчишкой-сыном, который мал, соплив и глуп...»

Но, рассуждая так, он не мог при этом переступить через порог их братства. Неуверенность и обида, порожденные в его душе подтруниваниями Мити, ввергли Алешку в мрачное настроение, и ему, откровенно говоря, уже никуда не хотелось идти. Но он продолжал следовать за братом, а голову буравила мысль об ошибочности своих внутренних доводов.

Он пытался укрыться щитом чести, исходя из того, что «уважение к самому себе остается лишь до тех пор, пока человек верен выбранным принципам. Лишившись их, он лишается и чести». Так, во всяком случае, говорил месье Дарий. Но это противопоставление очень быстро становилось неубедительным и слабым. На Алексея тут же напирал другой довод, тоже прежде не раз слышанный от маменьки: «Любить значит жить жизнью того, кого любишь». И это ему было гораздо ближе, роднее и доходчивее, так как мечта о своей возлюбленной незнакомке казалась теперь и Алеше призрачным миражом, а ссора с конкретным дорогим Митей была слишком очевидна.

Делая вид, что он поправляет фуражку, Алексей глянул украдкой на брата из-под козырька: тот был бодр, хорош собой и весел. «Вот ведь черт...» – с завистью подумал младший и, не удержавшись, спросил:

– Так ты... по-прежнему считаешь все мои мысли?..

– По поводу «муфточки» на катке? – улыбочиво перебил Митя и, видя по волнительным глазам Алешки, что попал в цель, кивнул: – Ежели угодно, то да. Нет, нет, постой, любезный, не горячись! Я, конечно, верю в твою любовь, вот моя рука, сочувствую, но... но любовь детская, надуманная. Клянусь, это пройдет.

– Дмитрий! – Алеша сжал кулаки, окаменел плечами.

– Да брось ты, ей-богу! Ты так ведешь себя, братец, оттого, что не знаешь человеческой природы. Человеку всегда кажется, что это истина, что в последний раз... что это как раз то... и всегда мало, и всегда не то. Подрастешь – поймешь. Вспомнишь мои слова. Тебе уже пятнадцать, на сцене выступаешь... В твои годы надо по ступенькам вверх идти, а ты все на ковресамолете мечтаешь летать! Ах ты, Аладдин мой, шут гороховый... ты о другом думай. У нас с тобой одна беда, брат, мы не знатны, но что хуже, еще и бедны. Одно радует, – пряча руки в карманы пальто, подмигнул Митя, – от стерляжьей ухи на пустые щи нам не переходить. И кто только выдумал это сословное зло? Вот тебя взять... Что дает тебе этот театр, мм?.. Одна мечта...

– Нет, это больше, чем мечта. Это моя цель.

– Ай, хватит туманы пускать. Сделай милость, хватит о сем. У тебя ведь в кармане – блоха на аркане...

– А как же тогда наше творчество? – едва не вскрикнул Алексей.

– То святое, не спорю, но то – для души. Хочешь честно? – Дмитрий неожиданно остановился, твердо посмотрел младшему в глаза. – Вот крест. Надоело крутиться, как собаке. За собственным хвостом, бегать сдавать экзамены и прочую ерунду... Один бес, у нас без протекции, без нужного словца, место теплое не получишь.

– Так что же?

– А вот подкоплю денег, а то и займу... есть еще крепкие, щедрые люди, – и открою свое дело.

– Но ты же сам мечтал стать юристом? – Алешка слегка побледнел от волнения.

– Да не мечтал я! Кто тебе это сказал? Вышло так... сам не знаю. Кстати, может, и стану юристом, я еще не решил, право. Есть у меня один в знакомых человек... Всего-то на курс и старше – Востриков Васька, та еще пройда...

– И что?

– А то, что у него голова – ума палата – не нам чета. Он и кончил-то всего два курса нашего факультета, а уже переведен в Балашовский уезд, где назначен судебным следователем. А почему? Э-э, брат, это тебе не булки с маком трескать! Все благодаря сметке и умению крутиться в сей жизни. Имел и до сих пор имеет успех у женщин, да не у тех, у кого в амбаре с голоду мышь повесилась... Бери выше! У тех его любовниц знакомства – ого-го-о! Вот тебе и картежник, вот тебе и мот... Плевать он хотел на мораль. Кто на нее нынче смотрит? Разве что из любопытства под микроскопом? А сегодня ему и сам черт – не брат! Жиреет на взятках да на связях, как кот на сметане. Говорят, имеет уже свой личный выездной экипаж, слуг... Дом вот решил закладывать каменный, а там дуб ввезет, бронзу, хрусталь! И все оттого, любезный, что памятный человек и умеет вести дела, ловчила. Тут, Лешка, комбинация нужна, как в картах. Ловкий ход, понимаешь ли?

Алексей только шмыгнул носом в ответ и кивнул головой.

– Но ты, один черт, за карты не смей садиться ни в горе, ни в радости. Помни, карточный долг кровью пахнет.

– И не собираюсь. Надо больно. Я все же актер, а не сапожник, – снова взбрыкнул младший.

– Ладно тебе фыркать барином. И не такие садились за стол, ежели судьба пригубила...

– И все же, Митя! – горячо выдохнул Алексей. – Все это довольно неприлично... «Связи», «взятки», ловкие махинации... Разве тебе самому от всего этого не мерзко? Разве не гадко? Разве тебя не мучает совесть? Маменька не переживет, если...

– Маменька переживет. Если ты сам ей не разнюнишь нашего разговора. Тоже мне святой! – прикрикнул Дмитрий. – Сам за гривенниками побираешься, а туда же обижаться... А насчет совести я тебе вот что скажу: совесть – это всего лишь страх перед расплатой. Если нет внутренней свободы, нет и внешней.

– Но тебе и осталось-то... всего ничего... Закончи институт. – Младший только покачал головой, слов уже не было, но все-таки он их сыскал: – Что же скажет отец на твою затею?

– А что он может сказать, сам-то подумай? – Старший протянул младшему папиросу, жестко чиркнул спичкой и сам ответил: – Скажет: «Стоило бы благословить тебя оглоблей через лоб. Не смей спорить с отцом! Не смей перечить! Знай место!» То ты, не ведаешь? Ему аргумент – он тебе два. А наговоришь с отчаянья дерзостей, того и гляди потащит силой на съезжую высечь за непочтение к дорожному родителю.

– Разве квартальный... не усовестит его? Ведь ты теперь тоже и кормилец, и поилец в нашей семье. Студент. Взрослый совсем. Ужли посмеет батюшка срамить тебя?

Алексей прерывисто вздохнул, отчетливо представив высоко занесенную руку папаши в минуты запальчивого гнева, и по спине его, как в детстве, пробежала мелкая дрожь.

– Ну его... с этой водкой мозги совсем набекрень, – нервно сшибая выросший столбик пепла, ответил Митя, смахнул с лица минутную тень обиды, посветлел взором и, хлопнув по плечу застоявшегося Алешку, заявил: – Доколе мерзнуть будем да время убивать? Ждут нас. Идем же скорее!

– Да куда? – скажешь наконец?

– Ну и репей ты, милейший. «Куда? Куда?» На кудыкину гору, ха-ха. Иди, иди, не моргай. Два шага осталось. Вон в тот дом. Красный, с кружевным балконом, видишь?

* * *

Обширный двухэтажный особняк, на который указал Дмитрий, принадлежал полковнику Ланскому. В свои приезды в Саратов полковник предпочитал квартировать именно здесь, в непосредственной близости с Александровским собором и площадью, где происходили парады и разводы городских полков. «Я, знаете ли, благоволю к мирному звону колокола, равно как и к звону мечей...» – склоняя голову для поцелуев руки дамы или поднимая искристый фужер с шампанским среди друзей, любил шутить полковник. Тут же неподалеку находилась и distinguished гауптвахта, пестревшая подъезжающими экипажами и мундирами снующих туда-сюда кавалерийских офицеров.

Между тем у графа Николая Феликсовича Ланского в адъютантах ходил молодой корнет Андрей Белоклоков – славный и расторопный малый, второй год по предписанию служивший в Павлоградском полку.

Корнет, которого полковник кликал не иначе как «голубчик», служивший при Ланском безотлучно и в полку, и в «свете», был ладный и крепкий молодой человек, одних лет с Дмитрием, с весьма смазливой, несколько романтично-задумчивым лицом, которое, впрочем, от ситуации момента могло препросто меняться от преданно-восторженного на плацу до жизне-радостно-хамского за серебряным ведерком с пуншем. Он был всегда общительный, бесшабашно-веселый, азартно-вспыльчивый, но при этом исправный до педантизма, проворный и ловкий, собственно, как и все предыдущие адъютанты Николая Феликсовича.

Вышколенный командиром до «сабельного сияния», он на всю оставшуюся жизнь сохранил тавро сей «учебки» в виде драного в двух местах левого бакена, заметным проплешинам которого, как видно, уж было не суждено зарости. Однако Белоклоков, будучи урожденным дворянином, ни зла, ни обиды на своего старшего покровителя не держал. Бурый сабельный рубец через глаз, уродливо кроивший лоб и щеку графа Ланского, героя 1812 года, был тому порукой, а более веселый нрав и привычки старого полковника. До тонкостей постигнув крутой характер Ланского, корнет подобрал-таки нужный ключик к сердцу своего командира, да столь разумно и точно, что тот если и серчал по случаю, то крайне редко, а чаще благоволил к своему «голубчику», ловившему его желания с полувзгляда.

Сам же граф не на словах до слез любил Россию, слыл большим охотником до русской поэзии, был недурным ее знатоком и премного почитал: Жуковского, Батюшкова, Измайлова, Вяземского, Пушкина, но пуще, что естественно для его мятежной души вояки, – Дениса Давыдова, с коим, как говорил, был прежде на короткой ноге и высоко ценил их знакомство.

Это обстоятельство радовало, но едва ли занимало корнета, зато приводило в восторг другое. Николай Феликсович, хоть и нес на своих плечах груз шестидесяти девяти лет, однако никто не посмел бы ему дать этого преклонного срока – столь еще он был крепок и моложав. Статный, широкой кости, тяжелый на руку, он на удивление молодости, на зависть старости был полон жизни, мог без передышки битый день находиться в седле, без усталости фехтовать офицерской саблей, а когда выпадало время – травить в своем имении лисиц и резвоногих зайцев. При этом он оставался ярым поклонником Бахуса и молодок, чистых лицом. Именно данные пристрастия, неистребимо живущие в Николае Феликсовиче, и были «на ура» встречены молодецкой душой Андрея.

Сам Белоклоков затруднялся с ответом и, право, вставал в тупик, мучаясь дилеммой: что же все-таки было ближе его душе: гусарская жженка, цыганские романсы под семиструнку либо волнующе пахнущие жасмином и ландышем веера, кокетливо скрывающие румяные щечки... И то, и другое, и третье он решительно любил больше, чем самого себя, а потому не гневил выпавший на его долю жребий и был неутомим и горячо истов в исполнении жуирных похождений бравого старика.

«Голубчик! Не будь дичком-нелюдимом! Унылость, сомнение, вялость – к черту эти химеры! Жизнь надо любить как данность. Брать ее, шельму, руками и вкушать, аки спелое яблоко, не боясь моральной оскомины! Все остальное – полная дичь!» – сидя в своем скромном, величиной с платок, номере, адъютант вспоминал жизненный девиз графа.

В этот субботний день Ланской находился в отъезде по неотложным делам со своим старинным приятелем графом Бобринским. Андрей по непонятным для него причинам на удивление не был взят полковником с собою и нынче был предоставлен лишь самому себе. Это обстоятельство радовало и огорчало одновременно. С одной стороны, Белоклоков был редко на целых два дня свободен. Ему не следовало по приказу куда-то лететь с депешей в седле или участвовать в однообразных до тошноты смотрах... С другой стороны, он ловил себя на том, что ревнует Ланского к Бобринскому, по той простой причине, что все «шуры-муры» с дамами и «форс», на который столь щедр был старик, разделятся, увы, не с ним.

– Эх, а так бы посиживал сейчас с душкой на коленях, а то и с двумя... Они бы, нимфы кудрявые, ласкали меня, а я бы зубы вином полоскал... – с какой-то особой «щенячьей» тоской вслух подзамечал корнет и с охватившей его досады раскострил трубку. Сквозь полуприкрытые, густые и чернявые, как у цыгана, ресницы, ему до мелочей припомнилось лицо своего отца-командира: жесткое, бронзовое от несмываемого загара, дубленое ветрами и порохом, оно имело суровый и непреклонный вид. Белоклоков явственно припомнил и то, как оробел и почуял ледок меж лопаток, когда впервые попал под прицел немигающих серых глаз, с резким и холодным, как сталь, блеском, которые взирали на него из-под нависа побитых сединой бровей с выражением какого-то презрительного спокойствия опытного человека, повидавшего на своем веку столько всякой всячины, что Андрей, как всегда ему думалось, знавший себе цену и умевший непринужденно держаться среди других господ офицеров, вдруг ощутил себя мелкой заштатной шушвалью.

Впрочем, переживал он недолго, так как припомнил, что именно на сегодняшнее число, на обеденное время, он условился о встрече с Дмитрием. Со старшим Кречетовым Андрей познакомился по случаю, со скуки заглянув на дачу при губернаторском доме. Там для большого скопления заезжих артистов и «песенных», «званных» цыган временно устанавливались загороди, балаганы с торговыми рядами и фейерверки. Прижилась и пустила корни такая привычка в Саратове еще с тех далеких времен, когда губернатором служил господин Панчулидзе³⁹ – человек тихий и кроткий, принимавший всех благосклонно, от поселянина до приказного, а поэтому любимый и уважаемый всем честным народом до высокой степени.

Фейерверки с шутихами были затеяны и на этот раз ради известных вельмож, разумеется, с дозволения высшего начальства. Под выкрики и аплодисменты запустили разом несколько ракет, бураков, также были сожжены на пробу самую малость и какие-то новомодные фантастические штуки в бриллиантовых и разноцветных огнях, привезенные на торжество не то из Италии, не то из Франции. Весь прочий запас фейерверка лежал до спросу в большущей груди, в отдаленном месте от зрителей, под зорким оком прислуги. И надо же было случиться такой напасти, что именно в этот арсенал от выпущенной ракеты посыпались пылающими углями искры. Запас на беду вспыхнул мгновенно, и грянула пальба с перестрелкой, точно в Кавказских горах.

Среди до смерти перепуганных зрителей сделались дикий шум, гам и давка. Ломались с треском крашенные изгороди из тонко устроенных досок. Достопочтенные отцы и матери к ужасу своему растеряли плачущих детей, мужья – жен...

Белоклоков был в сей вавилонской кутерьме, кому-то помогал, кого-то успокаивал шуткой и, потеряв не менее пяти пуговиц с доломана, насилиу выбрался в разбитую загородь, где и столкнулся плечом к плечу с обожженным, всклокоченным Дмитрием...

³⁹ Панчулидзе Алексей Давыдович был действительным губернатором г. Саратова с 1808 по 1826 г.

Позже, потрепанные, но радостные, возбужденные от выпавшего приключения, они отправились в ближайший трактир «зализывать раны». Там, за коньяком и закуской, которую корнет заказал с избытком, и завязалась их дружба... Позже они не единожды виделись и весьма «плодотворно» и резво проводили досуг в шумном обществе «охов и вздохов» веселых модисток и белошвеек.

И сейчас, заострившись на мысли о своем новом приятеле, корнет мельком глянул в зеркало, по привычке подкрутил шелковый смоляной ус, щелкнул себя по туго затянутым в белые лосины ляжкам и нетерпеливо посмотрел на часы: «Гадство! Четверть третьего! Где ж его черти носят?»

Глава 4

– Ну гуляка! Ну ты, брат, ветер! Без ножа режешь, подлец! Время-то глянь! – шумно гремя отставленным стулом, живо поднялся навстречу Андрей и заключил в объятия вошедшего Дмитрия. – А это кто хвостом за тобою? Уж не малый ли братец твой, о коем ты язык смозолил?..

Корнет, оторвавшись от пахнущего морозом и табаком Дмитрия, манерно изломив вопросом бровь, со снисходительной улыбкой воззрился на притихшего в дверях Алексея.

– Он самый. Знакомьтесь. Пройди, Алешка, не стой букой, никто тебя не съест. И дверь затвори, сквозняк.

– Корнет Белоклоков Андрей Петрович, адъютант его превосходительства полковника графа Ланского.

Сверкая глазами и густыми рядами серебряных пуговиц гусарского мундира, слегка фрондируя и подсмеиваясь над юношеской оторопью Алексея, адъютант прошелся туда-сюда, поводя плечами, заложив руки за спиной, во всем копируя своего патрона. Затем неожиданно сел на мягкое покрывало кровати и, с небрежным шиком забросив ногу на ногу, приподнял свои подвижные брови:

– Ну-с, господа, и чем же мы нынче займемся? Чем обрадуем город? Взорвем или отдадим его на разграбление вандалам, мм?

Алешка тихо сидел на вежливо предложенном ему стуле, смущенно молчал, скрывая свое восхищение перед новым блестящим знакомством Мити. Алексей, конечно, не раз видел в театре серебряные и золотые эполеты, роскошные аксельбанты и плюмажи высокого начальства, строгие лорнеты, направленные на него, как на какую-то букашку в кабинете биолога, но все это было издали, оттуда, из зала, как будто и не всерьез... Общение с этими важными персонами было уделом дирекции, но отнюдь не актеров, и уж тем паче не правом воспитанников училища.

Но здесь прямо перед его глазами непринужденно сидел, а прежде ходил, и теперь запросто, чуть ли не по-товарищески говорил с ним и с его братом человек из того сверкающего мира, двери в который от рождения были закрыты как для него, так и для Мити. Именно поэтому первые минуты пребывания в этой огромной, по Алешкиному разумению, комнате, с бронзой и зеркалами, в которой имел удовольствие проживать сей человек, оказались для него чуть ли не откровением. Богатство и сила новых впечатлений, с порога обрушившихся на него, смяли еще не оперившуюся душу. И он вдруг, несмотря ни на свой завидный талант актера, ни на уважение и почет, которые были им достигнуты каждодневным трудом, словно дикарь, выхваченный из степи в каменные объятия городских громад, ощутил себя ничтожным и слабым перед лицом недостигаемой для него касты.

Однако такое состояние души длилось недолго. Уже через пару минут лицедейский дух взял верх, и Алексей вступил в полное согласие с ситуацией. Это произошло как при содействии Дмитрия, так и самого хозяина.

– Так чем займемся, охотнички? – еще раз кольце поставил вопрос Белоклоков и, не дожидаясь ответа, запустил дюжим чубуком в двери: – Ефрем, оглох, что ли?!

В следующую минуту дверь пугливо приотворилась, и на пороге обозначилась сутуловатая, но по-солдатски ладная фигура денщика, лет эдак сорока – сорока пяти, при сивых усах, переходящих в драные бакенбарды. В одной руке он держал господский сапог со вздёранным по локоть голенищем, в другой разлапистую щетку, но при этом голоса не подавал, по всему ожидая, когда молодой барин сам изволит обратить на него внимание. И тот наконец обратил, бросив на него испепеляющий, полный раздражения взгляд:

– Вот ведь горе, судари! У всех денщики как денщики... А мне на радость болван попался! Ночь с днем путает, воду с водкой. Ну, что молчишь, скотина? Так или нет?

– Так точно, ваш бродие-с! – хрипло каркнул Ефрем, заученно поклонился в пояс, затем ровно окаменел, вытянув узловатые, пачканые ваксой руки по швам, и преданно вперился в своего господина.

– Водки, дурак, скорей неси с огуречным рассолом! И плащ приготовь!

– Который с бобром, ваш бродие-с?

– Нет, с кошкой драной! Тьфу, чертов болван!

– Понял, ваше бродие-с!

– Ну так ступай же, бестолочь!

Вскоре на столе появился прозрачный графин с водкой, окруженный тремя уже наполненными рюмками. Рядом, на белом фарфоре с золотой каймой, сыро блестели зелеными боками пупырчатые огурчики, и тут же рядом, отдельно для хозяина, стоячилась деревянная кружка с желтоватой костяной ручкой, полнехонькая ядреного мутного рассолу, по верху которого, как заметил Алексей, плавали темные семена укропа и светлые – от огурцов.

– Первую за наши доблестные войска в Чечне, господа! За Кавказ! За победу Отечества! – Белоклоков высоко поднял рюмку, но, не донеся ее до рта, покачал головой, глядя на рифленое стекло. И чем дольше он смотрел на прозрачную жидкость, что плескалась в рюмке, тем рассеянное и мрачнее делалось выражение его глаз. – Потерь много... Слишком много наших там гибнет... Ненавижу! Сжег бы всех этих гололобых живодеров... Сжег до единого. Вот бог – мускул бы не дрогнул. Все воры. Все коварные душегубы... Те же цыгане, только еще сволочней. Грязь, пожалуй, и то чище, чем этот народ. Простите... Ну-с, будем, господа.

Опрокинув рюмку, адъютант расправил плечи, точно крылья развел, повеселел, взгляд подернулся влажной теплотой.

– Да что ж такое? Водку вижу, а веселья нет! – молодым жеребцом гоготнул он и тут же уважил вниманием сызнава рюмки. – А ты что, лицеист, щеками алеешь? – Адъютант, возмущенно округляя глаза, с нарочитой грозой цыкнул на Алешку. – Брезгуешь, али не православный? Он что ж у тебя, Кречетов, сухим хочет выйти?.. Нет, брат, шалишь! Со мной играть рюмкой не стоит. А ну, что ты как неживой?

Алексей, с отчаяньем глянув на брата, перекрестился и, словно ахаясь в омут, хватил все без остатку. За столом засмеялись, а он тут же судорожно захрустел огурцом, не в силах отдышаться от вспыхнувшего в горле огня.

Прежде с Сашкой Гусарем они баловались только ячменным пивом, случалось, ягодной наливкой, но крайне редко. Наставники училища за этим делом следили строго: не дай господи было попасться им с запахом – розги не ведали жалости. Все помнили, как Сухарь и бровью не повел, когда нещадно секли Чибышева.

– Что, нездоров? Недуг приключился? – поймав после «вольной» вернувшегося «под мухой» воспитанника, навис над ним коршуном господин Сухотин. – А ну, дыхни! Так... что пил, подлец? Какую, говорю, гадость цедил? Вино, наливку, пунш?

– Водку... на крестинах...

– Ах, водку мы полюбили?.. Дальше-то что прикажешь ожидать, Чибышев? Это тебя, мерзавца, стоило на крестинах окрестить плетью! Умей быть весел без кружки! Что ж, любишь кататься, люби и саночки возить. Новиков, готовь розги!

После этой экзекуции Ганька Чибышев больше недели не выходил в классы, отлеживаясь в палате, и, как говорили соседи, рыдал по ночам, укрывшись подушкой, от бессилия, унижения и обиды.

– Ну, что ты опять загрустил? – Теперь на Алешку насел Митя. – У тебя же вольная на два дня, завтра не на занятия... Встряхнись, любезный! То ли еще будет.

– И то верно глаголет твой старший брат! «То ли еще будет!» Так, господа, как говорит мой Ланской: «Между первой и второй – пуля не пролетает!» А мы? Нет, так не годится. Подняли, подняли! Вот-вот – это я понимаю! Один секунд, лицеист. – Корнет погрозил белым пальцем вытянутому уже было губы к рюмке Алешке. – Как же без тоста? Это равно как перстень без камня. Так вот. Я предлагаю, господа: всю водку, понятно, не выпьешь, всех дам не осчастливишь... Но стремиться к сему будем!

Белоклоков легко, как родниковую воду, пропустил очередную рюмку, опять загоготал, затем вскочил со стула и заходил кругами по комнате, точно застоявшийся в стойле конь.

Алексею между тем после двух рюмок откровенно похорошело: мир незаметно, исподволь сделался уютным и ласковым, точно ты укрылся с морозу теплой периной. Весельчак Белоклоков грозным уж не казался, напротив, хотелось по-дружески обнять его, поблагодарить за радушие, потрогать серебряное шитье на синем мундире, а то и выпросить позволение примерить перед зеркалом гусарский ментик. Он вдруг отчетливо уловил всем своим существом пойманную за прозрачное крыло минуту царившего молчания, и она, эта минута, для души Алешки была полна глубокого очарования и неги. Лицо его просветлело, тревоги и заботы куда-то ушли, и что-то явно хорошее, неизъяснимо доброе творилось в юном, открытом миру сердце. И если раньше все эти люди из высшего сословия откровенно раздражали его своей холодностью и крикливым, наглым блеском своих нарядов и экипажей и ему частенько чесалось чиркнуть зажатым в руке гвоздем по лакированной дверце кареты или сделать какую-то еще гадость этим избранным счастливым, – то теперь, под влиянием винных паров, он испытывал к ним не враждебность, а что-то дружеское, щемяще-волнительное, что, как спасительный мост, пролегло между двумя берегами глубокой пропасти.

Как никогда был мил сейчас и Митя, который сумел не проговориться и сделать для него такой подарок. Алеше стало искренне жаль, что у Белоклокова нет фортепиано, а то бы уж они с братом, конечно... В следующий момент ему захотелось еще выпить и всенепременно уговорить их поехать в театр, пусть это будет балет или опера с его участием... А уж он постарается выложиться «от» и «до», чтобы понравиться, чтобы выказать свою благодарность и признательность за сегодняшний прием. И это желание столь овладело им, что он едва ли не физически почувствовал, как чешутся от нетерпения руки, как горят пятки, а более язык...

Но в то же время Дмитрий поднялся из-за стола и, подойдя к Андрею, что-то начал секретничать тому на ухо. И по мере того, как он сообщал какую-то тайну, черные вишни глаз корнета все более округлялись, покуда он не взорвался обидным для младшего Кречетова смехом и не выдал:

– Вот это номер! Бьюсь об заклад... Нет, черт, не верю! Ужели правда? Так значит, ты у нас, голубчик, девственник? Ха-ха! Немедленно, немедленно!..

Корнет будто с цепи сорвался, бросился к столу, мигом наполнил до краев рюмки и, приобняв за плечи поднявшегося Алексея, радостно взъерошил его волосы:

– Рад за тебя, голубчик, несказанно рад! А крепче завидую. Надо же, Дмитрий, все только в первый раз? Нет, ты вдумайся, в первый раз... да это... это же венец! Э-эй, Ефрем!

– Яу! – В дверях, на сей раз кратче прежнего, показалась напряженная физиономия денщика. В глазах его, будто в зеркале, отражались волнение и тревога, какими последние пять лет жил Ефрем. Казалось, его теперешнее бытие было сконцентрировано только на своем барине: чтобы все было сделано в срок, чтобы покои дышали чистотой, мундир был наглажен, сапоги, понятное дело, сияли, портному в починку вовремя были снесены лопнувшие по шву перчатки, а для пирушки загодя куплено вино нужных марок, а также табак и прочие, прочие нужные разности.

Алешке в какой-то момент даже стало неловко, оттого что глаза Ефрема, ей-ей, по-собачьи следили за «кашлем», за «игрой бровей», за «движением усов» его благородия.

– Значит, так, Ефрем, – не глядя на слугу, чеканил хозяин. – Печь протопи к моему приезду получше... зябка у нас. Когда буду, не знаю. По всему завтра... Вот деньги. – Белоклоков выложил на стол две синие бумажки. – Купишь, что говорил тебе. И чтоб все в лучшем виде. Разом-то не транжирь, дурак! А теперь беги на двор, толкни кучера, пусть экипаж заложит, да чтоб непременно Наполеона впряг, у Бурана правая бабка сбита, пусть залечится, а то угробим коня.

– Слушаюсь, батюшка. Не извольте сумлеваться! – все так же неизменно «руки по швам», кратко отвечал денщик, поджидая, пока его благородие не бросил ему обычное: «пшел».

– Ну-с, а пока суд да дело, не грех и вздрогнуть, господа!

Адъютант, продолжая сверкать глазами и белой улыбкой, прищипорил своим гусарским задором всех вновь поднять рюмки.

– Благодарю... вас... – растягивая в блаженной улыбке губы, отнюдь не трезво качнулся вперед Алексей и уцепился свободной рукой за одну из пуговиц ментика.

– Не стоит, – снисходительно успокаивая его блуждающую по шеренгам пуговиц руку, отмахнулся корнет. – Ты вот что, артист, прежде объятий пару советов моих послушай: главное – не будь ни с одной бабой чересчур любезным... и второе – не давай ложных обещаний. Знаю я этих стерв... Другая скажет: «Я на дружбу скупая, но ежели уж протяну руку, а ты позолотишь, то до гробовой доски!» Не хочу напоминать, что уж стоит забыть, но тебе повторю – это все ложь! Не верь из них никому. Ради красного словца не пожалеют и отца. Усвоил?

– Да вроде как...

Алешка неуверенно дернул плечами и к своему стыду зарделся еще более спело. С такой откровенностью, с такой готовностью ответить на его любые «заветные» вопросы ему еще никогда не приходилось сталкиваться. Но Белоклоков, в одной хмельной упряжке с Митей, уже на четвертой рюмке наперебой предлагали поделиться опытом с новичком; пытались объяснить застенчиво жаждущей юности, что именно необходимо мужчине и что, наконец, ему самому стоит ожидать в ответ от женщины...

Пальму первенства в сем просвещении держал адъютант, видно, это особенно тешило его самолюбие. Вальяжно откинувшись на спинку стула, он небрежно, на языке кавалерийских казарм, объяснял Алексею, «что с чем едят», и надо отдать должное, рецепты его отличались поразительной доходчивостью. Так, например, на хлипкие, неуверенные вопросы Алешки: «с кем?», «когда?» и «сколько?» – жизнерадостный, покрасневший от водки брюнет ответил по-свойски легко и споро:

– С кем угодно, когда придется и сколько хочешь. Лишь бы они, пташки, были здоровы... А то ведь всякое бывает, голубчик... Хватился, ан поздно – беда, гниешь... Были у нас в полку и такие штуки... Вот! – тем и хорош бордель, братец, что там гарантия от всякой, pardon, заразы... – подняв для значимости указательный палец вверх, подмигнул Белоклоков и через икоту добавил: – И право, зачем на «шомпол» ловить приключения? Его, друг мой, беречь надо... для жены, для семьи... другого Бог не даст.

Так, фриформально рассуждая о пряных тонкостях, корнет под молчаливое согласие Мити, заботливо уточнил для ушей младшего Кречетова, что иметь женщину молодому организму желательно четыре-пять раз в неделю.

– Ежели не подмок порох и существует мишень твоего пристрастия... саблю наголо и на штурм! Зря улыбаешься, любезный, потом захочешь, да не сможешь... Пей полную чашу: случится два раза в день – поклон судьбе! Случится три – еще краше! Не бойся, сие упражнение здоровью не повредит, а только назавтра нальет большей крепостью. Ты уж доверься мне на слово, мы с твоим братцем хо-хо-о-о!.. Кстати, ночь или день – разницы нет, все едино. Кто утверждает противное – болван, так и знай... Хотя, ежели ты вопрос ко мне имеешь, изволь: я предпочитаю утро, обед и вечер, чтобы ночь была отдана опере в ложе, ну-с, а потом шампанскому и карточной игре... Теперь о том кого? Так вот-с, о чем бишь я?.. Ах да: решитель-

ным образом всех, ха-ха! При сем готов держать пари, честное благородное, есть свой особый смак и в молодых, и в старых, в опытных и напротив, в красивых и нет, в пышных и худых.

– Побойся Бога, Андрей, рано ему об этом! – горячо встрял Дмитрий.

– Думаешь? – нахмурил смуглый лоб Белоклоков и скривил рот. – Впрочем, тебе виднее. Но ты-то согласишься, друг, что славную шлюху делает не лицо. Когда ты увлечен «скачкой» в постеле, разве тебе до ресниц и губ?.. Эй, брось, не глупи... Все это вздор, старые байки. Хотя не спорю, свежие прелести ласкать приятнее, но погоду... все же делают не они...

Далее на ошеломленного Алексея посыпались такие подробности, от которых ему стало сначала не по себе, а потом и просто тошно... Ангельским спасением от этого непотребства пришелся Ефрем, запыханно известив, что сани к подъезду поданы.

– Но ты все же выжги, Алешка, наперед: для этой утехи краше замужних дамочек или вдов нет, Богом клянусь! – подавая присевшему на корточки Ефрему по очереди то правую то левую ногу «под сапог», наставительно гремел гусар. – А, девственник, вон спроси у Ефрема, ха-ха!.. Да ладно, старый, не обижайся, что ты вечно смотришь на меня, как француз на бала-лайку? Шучу я, шучу... Так вот, Алешка, девственницы – выбрось сию дурь из головы! «Цацы» эти никуда не годятся, разве что под венец. С ними, нецелованными, хлебнешь мороки. Там она, значит, не может, тут она боится понести от тебя, а туда, видите ли, тапач не велит! «Ах, что вы задумали? Негодяй! Да как вы смеете?!» Ну, и все в таком духе. Одна маята, а между тем... Pardon... Ефре-ем! Плащ, кивер, саблю... да живет же, чербер, уже пятый час, чтоб тебя лихо взяло!

Звенькая шпорами и ножнами клинка по ступеням, раздухарившийся корнет подвел черту:

– Другое дело – окольцованные бабочки... Тут ты, дружище, не прогадаешь. В особицу здесь у вас, в провинциальном захолустье, эти истосковавшиеся затворницы на все согласные. У них пусть и опыт по-миссионерскому скуден, зато фантазия и азарт во снах так и брызжут, что тот фонтан. Этих, замечу, учить – только портить. Сами подскажут, что и как, ну-с, а ежели ты проявишь еще и должное творчество, так сии феи поразят своей выдумкой и напором. Так-то, брат, мотай на ус! Ладно, летим!

Глава 5

Похрустывая ноздрястым снежком, экипаж то скоро скользил по бульвару, то противно «щелкал» по оголенным, оттаявшим булыгам. Благо, что с широких полозьев к весне конюхом уже были сняты накладные железные подрезы. Дерево скользило, но не резало, что ладно лишь по доброму снегу. Зато на всяком косогоре и уклоне горбатой улицы сани даже раскатывались и подтаскивали за собою набочившегося рысака и часто бились широкими отводами о деревянные бордюры и городские тумбы.

Куда точно ехали, Алешка не знал, но догадывался. После всего свалившегося на него – в голове была полнейшая карусель. «Вот уж воистину удружил братец... Господи, неужели сегодняшним числом я?.. Я буду... в первый раз в своей жизни?.. Господи, помоги мне, эх, да что же это я?..» – У него неожиданно от нарастающей неуверенности перехватило дыхание. Он уже не замечал дымчатых, сугробистых облаков, что вяло тянулись по смеркавшимся небесам, цепляясь за макушки деревьев и тусклые в этот час кресты соборов, не видел он и первых, похожих на рассыпанное серебро звезд, что до времени робко проблескивали сквозь унылую вязь оголенных ветвей.

Шальное приглашение адъютанта теперь мучило и томило душу. Раздражало и беспечное спокойствие Дмитрия. В этой композиции он вновь наслаждался прикуренной папиросой и лукаво улыбался чему-то своему, крайне далекому от переживаний младшего брата. Алешке же не сиделось, точно гвозди были под ним. Ему и «чесалось» хоть одним глазком узреть этот скрытый от общества тайный мир греха и порока, но дико и пугливо было вообразить даже в мыслях, что могло ожидать его там... Он, конечно, понимал и был уверен, что ни наставников «потешки», ни родственников, ни знакомых, никого, кроме доступных девок, там не окажется. Так, во всяком случае, говорил Белоклоков, в этом решительно заверил его и Митя. И все же путанный клубок мыслей не давал ни на секунду покоя его голове.

«Как поведу себя? Не осрамлюсь ли? Ах, шут, похоже, придется прежде говорить... о чем? Вдруг да меня поднимут на смех?.. То-то будет позор: ведь я ровным счетом ничего не знаю. Нет, это только по словам Дмитрия все легко и просто... По его словам, я и сам до всего дойду. С мужчинами, дескать, по первости всегда так, а потом р-раз – и в дамки. Чего бояться? Ну-ну... А вдруг сяду в лужу?»

Алешу пробил пот, когда он представил, что ему придется остаться в одной комнате один на один с чужой ему женщиной, и, быть может, случится, с нею еще что-то надо будет делать... Раздумывая таким образом, он вообразил это совсем невозможным, особенно когда перед глазами мелькнуло нежное лицо незнакомки, в которую он уже второй месяц был бесконечно влюблен. «Но ведь безответно? – успокаивал он себя теперь. – И все-таки лучше отказаться. Что проще сейчас соскочить и отправиться восвояси? Все это пошло и гадко, и главное – ни к чему».

Но тут его, как назло, опять начинал крутить и тыкать сверху и снизу каленой булавкой бес: «Когда еще доведется? Денег у меня для таких затей отродясь не было, а тут все оплатить вызвался Митин друг. Все же чертовски волнительно и любопытно: как это бывает? А если сбегу, что скажет корнет? Брат? Нет, не простят. Высмеют, попробуй потом подойти к ним. Эх, была не была! – выдохнул Алексей и, крепче связывая и убеждая себя данным словом старшим товарищам, решил идти до конца. “*A la guerre, comme a la guerre!*”⁴⁰ – так, кажется, смеется корнет, так буду смеяться, относиться к жизни и я». Угостившись папиросой, он даже повеселел от неожиданно принятого для себя решения, однако долго молчать не смог и, незаметно толкнув брата плечом, тихо спросил:

⁴⁰ На войне как на войне (*фр.*).

– А как это... хм, хм, словом, без чувств? Без души?.. Или ты всех любишь?

Митя серьезно посмотрел в доверительно-напряженные, глядевшие на него глаза, и уголки его губ дрогнули в улыбке.

– Что я смешного сказал? – сдавленным голосом, так, чтобы не слышал гусар, гусем прошипел Алешка. – Их же много у тебя? Не тяжело? Неужели на всех сердца хватает?

– Резонно, но глупо, мой юный натуралист. В этих играх нет любви.

– Как нет? – Ответ брата поставил его в тупик.

– А так... Нет. И все... Скажем, ты предпочитаешь оранжад – компоту.

– Допустим, и?..

– Так разве для этого вывода необходимо *любить* оранжад, м-м?

Алеша не нашелся что-либо сказать, а Дмитрий по-братски приобнял плечо младшего и, продолжая тепло улыбаться, заверил:

– Там, любезный, куда мы едем, о любви забудь. Это лишь радость плоти. Не боле. Удовольствие, если угодно. Она дарит себя – тебе, ты – ей. Оба вполне довольны, и нет никаких глупых упреков.

– Но если... – Алексей нахмурил брови.

– Но если вдруг ты все-таки ощутишь беспокойство и ложную привязанность к одной из этих Магдалин, советую: тут же искать другую. И вот крест, новая юбка в два счета выходит тебя из этой хандры.

Дотошный Алешка хотел было попытать что-то еще, но внимание его отвлек бойко летевший навстречу экипаж. В нем ехали чиновник в фуражке с блестящей кокардой, с кожаным портфелем на таких же ярких медных застежках, лицом и ногами в левую сторону, и купчиха в белом салопе с кунным, важным воротником, повернутая вся в правую сторону, прямо лицом к братьям.

– Видел, как она губы поджала и брови нахмурила, ровнехонько знает, куда мы катим, – невольно слетело с губ Алексея, когда кучер поворотил за угол.

– И знает! – весело рассмеялся в ответ Митя. – Да только не от того багровеет она лицом... А от того, что завидует нам, старая репа.

– Да ты что?

– А ты думал!

Братья, откинув головы, от души рассмеялись. Этот печальный вердикт купчихе, который, не раздумывая, влет вынес Дмитрий, был полностью разделен Алешкой. Увы, в эгоистическом измерении юности те, кому за тридцать пять, – это уже безнадежные, дряхлые старцы.

Алексей не знал, сколько отмерил себе прожить его брат, зато крепко держал в памяти пылкое убеждение Гусаря: дожить до двадцати пяти, а там хоть пулю в лоб, хоть с камнем на шее в Волгу. Зачем, право, потом всю оставшуюся жизнь избегать зеркал, как черт ладана, носить в кармане румяна и пудру, мучиться париками и горевать о том, чего уже, один бес, не вернуть. Сам себе Алексей покуда сроков не выдвигал, потому как в пятнадцать лет еще отчаянно хочется, чтобы тебе поскорее стукнуло восемнадцать...

Всю дорогу в конец Московской улицы на удивление молчавший балагур Белоклоков был замкнут и погружен в свои думы. Дмитрий, неплохо знавший Андрея, время от времени поглядывал на своего приятеля и был отчасти смущен столь откровенной метаморфозой. После того как миновали четвертый квартал, он даже стал, скрытно от Алексея, нервничать и строить догадки: что эта тень неуверенности могла значить?

Между тем голова адъютанта была занята одним-единственным вопросом: объявится нынче его превосходительство или нет? И эта мысль нещадно грызла его, как цепной пес, не давая легко и свободно предаться веселью.

* * *

Дело в том, что они держали путь в местечко под громким названием «Прогресс»⁴¹. Местечко это было действительно шумным, имевшим громкую и скандальную славу на весь Саратов. Это был трактир, принадлежавший господину Корнееву, который, презрев советы друзей и старообрядческие убеждения матери, в один прекрасный день хладнокровно похоронил торговлю сапожными товарами и на свой страх и риск взял да и открыл гостиницу с номерами, с рестораном и музыкантами.

Прежде Корнеев широко обшивал горожан, ловко снимая с них мерки. Его просторный магазин с многорожковыми люстрами, с громадными шкапами из красного дерева, забитыми модными ботинками и сапогами из гамбургской кожи, весьма радовал глаз саратовского обывателя.

Однако, как ни бойко шло дело, торговля кожей не согревала сердце Максима Михайловича, и он, с неприкрытой завистью глядя на предприимчивых соседей Свечина и Барыкина – людей, державших свои питейные заведения, – ходил по городу мрачнее грозы и чернее ночи... Будучи частым гостем в их «апартаментах», он до крайности искушал свою душу веселым звоном посуды, плаксивым пиликаньем еврейской скрипки и в целом живым, непохожим ни на что шумом трактирной жизни. Вернувшись домой, он хмуро и подозрительно прислушивался к стуку сапожных молотков о колодки и к хищному шелканью ножниц, которые раздавались в его «пенатах» с утра до заката.

Но еще острее и внимчивее Максим Михайлович прислушивался к голосу своего неугомонного сердца. И однажды, не совладав со своими страстями, соблазненный заманчивыми горизонтами трактирного поприща, Корнеев не выдержал и с досадой забросил в темный угол молоток и колодку. В два дня рассчитав ошарашенных, ничего не подозревавших работников, он с головой бросился в желанный омут мороки, где, по его разумению, должна была играть музыка, разливаться волжская песня, а сквозь табачный дым, шум пьяных голосов, лязг вилок и ножей – слышаться вкрадчивый, но греющий душу хруст денежных купюр.

И надо же – дело пошло! Гром и шум у Корнеева не смолкали. С обеда и до утра там слышались арии, веселый звон посуды и хохот. Тем не менее стать заурядным преемником Барыкина и Свечина – этого Максим Михайлович допустить не мог. Взыграла в жилушках купеческая гремучая спесь. «Что ж... это я, свят-человек, на старости лет в недопёрдышках хаживать стану? Али прикажешь Корнееву в хвосте блох искать? На-кось, выкуси! Вырос я, чай, из зеленых соплей и подгузников! Не по нашей фамильной жиле сие будет!..» – то обманно жалился, то победно сипел он на ухо старо-знакомому дьякону, который частенько навещал его дом, наперед зная, что уж в том гнезде ему завсегда поднесут графинчик перцовки или сладкой рябиновки.

Как бы там ни было, на зависть соперникам, на удивление посетителям был удуман «чудо-заказник»: зимний тропический сад. Эта затейщина, сложенная на русский характер и размах, и вправду покорила сердца как саратовцев, так и знатных заезжих гостей. На это чудо были ставлены все до копейки немалые капиталы купца. Народ тут как тут, зажужжал, ровно поганые мухи над котлетами... Весь Саратов взялся перемывать кости смельчаку. На каждом углу не без ехидства шушукали, мозолили языки: «Эх, с огнем играешь, Максимушка! Аки дитя неразумное, квашню замесил... Видано ли дело, в нашем-то снегу ансасы да бананья разводить? Ох, родимые, как есть погорить Михалыч, без портов останется! Ведь с голой ж... по миру мыкать горе пойдёт...»

⁴¹ См.: *Горизонтов И.* Письма к приятелю // Старый Саратов. Изд-во журнала «Волга», 1995.

Однако купец дело свое разумел туго. Щедро ставил свечи в церквях, лоб до синевы разбивал в истовых молитвах, на паперти мелочью, как дождем, осыпал калек да убогих, но при всем том вожжи своего детища из рук не выпускал. В Санкт-Петербурге и Москве покупались пальмы, из коих попадались великолепные экземпляры в обхват толщиной; была грамотно спроектирована и выстроена стеклянная зала с искусственными гротами и пещерами, с висячими киосками и беседками... Посредине сада бил фонтан, лаская слух непрерывным журчанием сыплющихся с четырехметровой высоты струй, даруя прохладу и свежесть, освобождая дам от монотонной необходимости пользоваться веерами. И над всем этим буколическим уголком экзотической зелени носился и жил предприимчивый дух господина Корнеева, все измышлявшего, что бы еще удумать такого, от чего ударило б его земляков и в глаза, и в нос...

По открытию в «Корнеевку» глянуть на диковинку хлынула было и порядочная публика, но пара-тройка громких скандалов заставила саратовцев разбежаться и напрочь отбила у благородной ее части охоту пить чай под тенью финиковой пальмы. И даже сами пальмы – эти дети жгучей Африки и палящих лучей Индии – задумались и поникли листьями, глядя на разгул и ночные оргии сынов волжских равнин и морозов. Ни Африка, ни Индия, где люди едят с оглядкой раз в день по горсти изюму и рису, где пьют глоток доморощенного вина, – ни одна из этих стран не в силах была дать и приблизительного понятия о том, как надо пить и как действительно пьет российский народ. Латании⁴² и магнолии только содрогались листьями при виде гулявших компаний.

И вот как-то на выручку приунывшему было Максиму Михайловичу, как архангелы с неба, и объявились brave гусары. Пронюхав, что к чему, и оставшись довольными, квартировавшие в городе офицеры оккупировали гроты и пещеры, беседки и столики Корнеева, да так основательно, что, несмотря на убытки – горы битой посуды и рубленные в кураже зеркала, которые приходилось частенько ставить заново, – киса удачливого трактирщика худобы не ведала.

Все это или почти все знал адъютант Белоклоков, знали понаслышке и братья Кречетовы. Однако в отличие от своего приятеля кавалериста, они не догадывались, что Марья Ивановна Неволкина – солистка корнеевского хора, к которой и вез на смотрины юного воспитанника адъютант, – являлась сердечной занозой его превосходительства графа Ланского.

Оставляя свое ненаглядное семейство на далеких берегах Невы, здесь Николай Феликсович будто получал вторую молодость и откупоривал потайной клапан нового дыхания. Когда Ланской сталкивался на пешей иль верховой прогулке с милым женским личиком, его словно подменяли. Полковник молодцевато приосанивался, широкая грудь, затянутая ментиком, сияла позвякивающими крестами и звездами, а с изуродованного французской саблей лица куда-то пропадало обычное суровое выражение. Если при этой okazji заходила еще и беседа, то граф становился необычайно галантен, игрив и располагал сердце дамы своей чудесной изысканной любезностью.

Красавец адъютант лишь диву давался: «Ты только глянь, как наш отец умеет ядрено мики-баки забивать! Чистый сатир, куда деться? Любого из молодых за пояс заткнет и с носом оставит». Недаром сказывали ветераны павлоградцы, что Николай Феликсович и на Москве, и в Париже в свое золотое времечко пребывал в большом фаворе среди женщин и разбивал своими изменами любящее сердце дражайшей половины. «Оно поди ж ты!.. Чой тут прикажешь делать, сударь, – сетовал графский денщик, – ежели он не может, орел, равнодушно лицедреть на пригожую душеньку, особенно если она свежа годами и товарища бабьим богатством?»

Так в сети полковника попала и певичка Марья Ивановна – спелая формами, щедрая на фальшивые улыбки и обещания. Однако у Николая Феликсовича, человека пронизательного и

⁴² Латания – вид пальмы.

редко ошибающегося, эта закавыка не вызвала морщин на челе. «Пусть так, пусть всему виной мои деньги, титул и связи, так что с того? У меня есть дорогая сердцу жена, взрослые умные дети, коих я страстно люблю, чего же еще? А это... это так... если угодно, мой каприз, очередная шалость, не боле... – сидя зимними вечерами за чашкой кофе и трубкой, поглядывая на семейный медальон, рассуждал он. – Я честен перед Богом и государем, предан Отечеству, а остальное все блажь... Кто нынче не грешен, а я отнюдь не монах».

Но как ни успокаивался граф, как ни накладывал ретушь на свое новое увлечение, а корнеевская «певчая пташка» на деле крепко запала в душу и клевала, клевала сердце старика. Чернобровая Марьюшка с жемчужной улыбкой и роскошной косой не выходила из головы, заставляя Ланского все больше и больше транжирить средств на ее французское кружевное белье, платья и украшения.

Связь эта тянулась уже полгода. В полку о ней знали решительно все. Поначалу многие отчаянные головы, особенно из молодых да ранних, пытались приударить за красавицей, но тщетно... Любовница графа, опасаясь ревности старика, была неприступна, и лишь лукавая игра глаз да ничего не значащие улыбки были ответом на все наскоки пылких гусар. Однако жило что-то внутри этой певички, что подсказывало адъютанту и наводило на мысль: «...В тихом омуте черти водятся». И сейчас, подъезжая к трактиру, корнет об одном молил Христа и святых угодников: «Святой Боже, убереги нас от черного случая... Только б не объявился сам...»

– Приехали-с, ваш бродие! – разбил морозное стекло молчания кучер.

Рысак, взмахнув породистой, кровной головой, с размашистого намета перешел на хлынец⁴³, а затем и вовсе остановился под туго натянутыми поводьями.

– Прикажете ждать, ваш бродие? Али завтра к обеду быть?

– Ждать, – придерживая эфес сабли и поправляя лаковый козырек кивера, сухо отрезал Андрей.

⁴³ Хлынца – быстрый шаг.

Глава 6

Как только сани остановились, у Алешки екнуло сердце. Но он все же был рад случившемуся. «Была не была», – мысленно повторил он бодрящий девиз и, одернув шинель, пошел за старшими.

Густое вечерье затопило город, обещая долгую зимнюю ночь. Стылый воздух с каждой минутой становился все более ломким, и в нем кружились тончайшие ледяные иглы и блески, точно бриллиантовая пыль, сверкавшая вокруг горящих уличных фонарей. Вокруг было тихо, жерла убегающих улиц терялись во тьме, и только двухэтажный трактир Корнеева, извозчицы питейники да портерные призывно мигали огнями и молчаливо манили в свои недра озябшего путника.

Троица миновала длинный редут экипажей, поджидавших своих господ, и скоро поднялась по широким ступеням, что вели в «обитель» Корнеева. Перед массивными из мореного дуба дверьми Белоклоков придержался, выудил из плаща плоскую карманную фляжку и сделал пару жадных глотков жженки, после чего нетерпеливо загрохотал эфесом по медной накладной пластине.

Дверь через долгую паузу заскрипела и обдала вновь прибывших клубами теплого воздуха и спертými застоявшимися запахами спитого чая, водки и разной готовки снеди.

В тускло освещенной желтушным фонарем прихожей остро и сыро блеснули белки глаз, и мрачный бас швейцара, больше напоминавшего видом портового громилу, недобро прогудел:

– Чьи будете? Местов по-любому нету.

– Я тебе, сучий пес, покажу, «чьи будете?». Это для кого же, подлец, мест нет?! Опять пьян, болван?

И тут Алешка, к своей неискушенности и растерянности, увидел, как кулак адъютанта, затянутый в лайковую перчатку, взметнулся камнем и несколько раз впился в мордату рожу швейцара. Тот только тяжисто охнул и, вытирая мятым платком красные от крови усы, проскулил:

– Батюшки-светы, Андрей Петрович, вы ли? Ай, прости мужика, ваш-бродие, впотьмах не смикитил. Прошу, гостеньки дорогие, прошу. Вашими соколиками весь дом забит. Велено было никого не пущать.

– Хватит врать, Фрол! Чего стоишь, каторга? Заруби – пить на службе грех! Гляди, стервец, у меня... В другой раз доложу хозяину, вмиг будешь за дверью в грязи лежать, как свинья. Смикитил теперь?

– Так точно, ваше благородие, – запирая на засов дверь, виновато пробасил Фрол.

– Что же стоим, друзья? Извольте за мной... Будет вам, сушья мелочь, – точно ничего не случилось, точно хлопнули комара, да и только, учтиво звякнул шпорами корнет и широким уверенным шагом направился к бархатным портьерам, за которыми была видна освещенная мраморная лестница и слышались переборы гитар.

Но прежде, чем подняться в залы, их обслужил вынырнувший из своей каморки, драпированной розовым шелком, весьма проворный малый. Алексей вслед за братом сбросил шинель и подал ее в рябые от веснушек руки рыжему гардеробщику. В прихожей по стенам свисали груды теплого платья, шинелей, пальто, но более преобладали меха. Оттенки их были разные, но царствовал над всеми желто-золотистый и красный цвет лисицы, а это значило, что в залах гуляло купечество.

– Похоже, опять наверху орудует купец! – весело хохотнул Андрей и, озабоченно глянув на себя в огромное зеркало, подмигнул Кречетовым: – Ну-с, с богом!

Алешку оглушил гул пировавших людей. Во всех залах, а их было три, не считая пещер и гротов, висели и плавали сизые тучи табачного дыма, за которыми насилу были видны дви-

гающиеся фигуры пьяных и навеселе людей. Свет многих горевших масляных ламп и люстр едва озарял этот душный и плотный туман. За десятками столов и столиков, крытых белыми с кистями скатертями, восседали компании, пьющие, едящие и спорящие примерно на одну и ту же тему: «Ах, эта сучка-дочка, шельма она такая!..»

– Ну, брат, держись, – послышался над ухом родной, чуть хмельной от предстоявшего веселья голос Мити. – Давай, давай вон к тому столу... Видишь, откуда нам Андрей рукой машет?

И они, пройдя вдоль целого ряда кипевших высоким градусом столов, подошли к теплой братии гусар. Офицеры, развалившись на стульях и парчовых банкетках в живописных позах, точно на привале, оживленно перебрасывались словами с корнетом, при этом не забывая поднимать бокалы и запускать вилки в расставленные перед ними яства.

– А ну-тка, просим, просим!

– Знакомь нас, Грэй! Vas-y, mon cher⁴⁴, смелее! Вот так bonne chance!⁴⁵

– Эй, павлоградцы, глядите, каких красавцев доставил нам корнет. Даром, что не гусары!

– Ох, смотри, Андрей Петрович, ежели твои Аполлоны отобьют у нас душек, спрос с тебя... Да что там, брат, дуэль!

Огромный, в несколько сажений, стол взорвался залпами хохота попеременно с радушными предложениями разделить трапезу.

– Знакомьтесь, друзья, мой старинный друг, ротмистр Крылов Валерий Иванович, это корнет Хазов Евгений Яковлевич, – сыпал, как горох из кулька, именами и фамилиями повеселевший Белоклоков, одновременно усаживая братьев в тесный круг своих полковых приятелей-усачей.

У Алексея в глазах зарябило от золотых аксельбантов, галунов и шнуровок, ментиков, сверкающих пуговиц и небрежно свисающих с плеча чуть не до пола алых доломанов, от трубок и усов, вензелястых, на длинных ремешках ташек и киверов, что вместе с саблями лежали тут же на столе, рядом с сидящими. Все имена и звания представленных офицеров им были тут же забыты, и вообще все это буйное соцветие красок на фоне зеркал, в которых отражалась глубокая зелень широколиственных пальм и прочих экзотических корнеевских штучек, почему-то виделось переполненному эмоциями Алексею фантастическим птичьим базаром, где повсюду, куда ни брось взгляд, цветастые перья и бестолковый, но радостный переполох.

– А почему «Грэй»? Почему так кличут его? – осторожно спросил Алексей Дмитрия, кивая на адъютанта.

– Просто прозвище, а почему «Грэй», шут его знает, – пожал плечами Митя и вдруг остро ощутил, как голоден, как готов уничтожить весь стол, уставленный закусками и вином. Он было уже потянулся за кулебякой, как Белоклоков шутливо погрозил ему пальцем и заявил:

– Э-э, нет, голубчик, так не годится. Моя затея – мой и почин. Максим Михайлович! Михалыч!!

Корнет вдруг заложил кольцом пальцы в рот и оглушительно свистнул так, что у Алешки заложило правое ухо, а в зале на миг сделалась тишина.

Сам Максим Михайлович, которого тщетно пытался дозваться корнет, как щука в пруду, зорко наблюдал за всем, что творится в его заведении. Среди шума, гама и пения в залах нередко раздавались крепкие шлепки оплеух, крики и оскорбления повздоровивших между собой людей. Случались и пьяные драки, когда по трактиру летали стулья и подносы, разбивались носы, трескали чубы и ребра. А потому Корнеев, лучше других зная, что ожидать и делать, помимо того, что всегда имел для такого расклада на подхвате пяток здоровых и ладных, как

⁴⁴ Ну-ну, мой дорогой (фр.).

⁴⁵ Удача (фр.).

амбарные двери, половых, сам был скор на руку и действовал ею твердо и основательно, едва ли хуже кулачного бойца.

Пронзительный свист в Белом зале заставил хозяина насторожиться, но в следующий момент напряженно рыщущий взгляд уже обнаружил причину беспорядка, и... на крупном, лоснящемся от пота лице появилась дежурная улыбка: «Тьфу, жили-были, уж мне эти усатые жеребцы-пегасы, чтоб вам всем поперхнуться, иродово племя!»

– Господь с тобой, дорогой Андрей Петрович, зачем так пугать, мил человек? Уж больно бандюжым посвистом подзываешь. Я-то ладно, – отмахнулся Корнеев, – но вот-с... другие господа... Так ить и до обморока недалече... вдруг кто со страху да с непонятия костью подавится и помре... Что обо мне говорить станут?

– Да полно блажить, Михалыч! – Белоклоков фривольно, как своего денщика, похлопал по сытой щеке трактирщика. – Уж ты-то уши, пожалуй, прижмешь... жди!

Стол вновь взорвался гусарским хохотом, и Максим Михайлович, чтоб уж не выглядеть полным отставным дураком, тоже осклабился, показав при этом крупные, желтые, как у мерина, зубы.

– Вот, господа Кречетовы. – Корнет широко выбросил вперед белую руку, указывая на владельца ресторана. – Извольте честь знакомиться – Максим Михалыч! Наш! Наш милейший Михалыч... Душа человек – бог и царь чревоугодия. Ежели и есть где в столицах такие затейники по части заманивания публики, то быюсь об заклад, немного. А здесь, в Саратове, ты один троянский конь, так ли?!

– Увы-с, покуда трое нас... – явно печалась сим фактом, склонил прилизанную конопляным маслом на прямой пробор голову Корнеев, имея в виду трактир своего злейшего конкурента Барыкина под громким названием «Москва» и ресторан господина Свечина, который, не убоившись своей телесной полноты и знаменитой одышки, все же забрался на второй этаж выкупленного особняка, где было приготовлено обширное помещение.

– Ну и пес с ними, Михалыч, тоже мне горе! Наши-то анакреоны⁴⁶, орлы... почитай, все у тебя на постое стоят! – поднимая шампанское, громко икнул адъютант. – Зато ты у нас первый насчет девиц и номеров! А что за романсы и куплеты у тебя звучат!.. Одна Марья Ивановна Неволина чего стоит! – Адъютант многозначительно подмигнул Корнееву и тихо забросил вопрос: – Сама-то будет?

И, услышав утвердительный ответ, возвысил голос:

– Что ж, твое здоровье, голубчик! Процветай! Господа, поддержите почин!

Белоклоков, влажно сверкнув глазами, принудил братьев снова поднять фужеры.

Польщенный лстивыми речами завсегдатого гусара, Корнеев вновь расплылся в фальшивой улыбке благодарности, хотя и преотлично знал, что пальма первенства в сем деле принадлежит отнюдь не ему, а Григорию Ивановичу Барыкину. Именно он, после долгой и въедливой поездки в Северную Пальмиру, ввел в жизнь и практику саратовских гостиниц новый, дотоле не виданный элемент – поющих и играющих девиц. С его легкой руки «оне» брызнули духами по пахучим и скромным публичным ночлегам, в которых прежде ароматом женщины и не пахло. А тянуло подгорелой вонью постных пирожков, прогорклым маслом, квашеной капустой, бочковым соленым огурцом, водкой, но чтобы женщиной – ни-ни! И вдруг... Прежде всего появились белокурые немочки с невинными арфами, цитрами, гусями и какими-то глупыми песнями. Их ревниво сопровождали в качестве регентов и распорядителей сомнительного вида типы, на первый взгляд все будто бы отцы и братья. Причем эти немцы, невесть зачем, старательно притворялись итальянцами, смешно носили широкополые неаполитанские шляпы и называли своих жен синьорами. Юные хрупкие создания после представления обхо-

⁴⁶ Анакреоны – от имени древнегреческого поэта Анакреона, жившего около 500 г. до Р.Х., автора любовных и застольных песен, воспевавшего любовь, вино, пиры и т. п.

дили столы и тихим жалостливым голосом тянули: «Синьоры, пожалуйста на ноты и на лечение!» Получалось... отвратительно. Тем не менее, хоть все они, за редким исключением, плохо брнчали на арфах и клавикордах, скверно пели непоставленными голосами, все же, как новинка, это действо притягивало и нравилось грубым неискушенным посетителям трактиров. В те времена еще не было опошленных мотивов «Стрелочки», а разные опереточные арии и рулады еще не проникли в поволжскую публику: немцы пели тогда что-то чувствительное и жалобное, под звуки чего полупьяное, доброе от природы и жалостливое русское сердце нередко обливалось слезами и отдавало савоярам последние гроши.

Теперь же повсюду царил «цыганский плач» под гитару, «жестокий романс» и лихие, весьма скабрёзного толка куплеты.

– Прошу простить, служба, не могу-с... – ловко делая виноватое лицо, мазнул по сидящим взглядом Корнеев и, задержавшись на Дмитриии, ласково добавил: – Быть может, господа хорошие хотят что-нибудь заказать или изволят так-с... отдохнуть?

Митя, уже давно и откровенно страдавший от набатного желания поест, едва сдержал себя от этого ехидного, в лоб заданного с явной насмешкой вопроса. Однако он нашел в себе силы, беспечно улыбнулся и, глянув на карманные часы, заметил:

– Пожалуй, ты прав, любезный, пора.

– Нет, нет! Pardon, друзья! Михалыч, прошу любить и жаловать моих товарищей!

Корнеев, в белоснежной рубашке навыпуск и плюшевом бордовом жилете, замер перед троицей в выжидательной позе, при этом успев что-то шепнуть подручным-половым.

– Так-с, милейший Михалыч, знаешь ли ты, что мы нынче угощаем известного артиста? Ты не гляди, что он юн. – Белоклоков кивнул в сторону Алешки. – Это, брат, не твои фокусники-акробаты и бурлаки с Волги, что бьют дробь не хуже солдатского барабана. Это, голубчик ты мой, его величество театр! Он, брат, у самого Соколова изволит служить! A votre service... *violette de Parme*⁴⁷, если угодно... Так что смекай, любезный! Сооруди нам сперва водочки. К закуске чтоб пару подносов разносолов, а не кот наплакал, знаешь, как я люблю.

– Будьте покойны, сударь, исполним-с.

– Ну-с, а теперь удивляй, Михалыч, чем угостишь-потетишь?

– Балычок астраханский... Так степным дымком и сквозит... Чистый янтарь.

– Это дело! – подмигнул братьям корнет и жарко потер ладони.

– Есть и икорка белужья парная. Поросенок с хреном, утка в яблоках, чугинские зайцы в вине...

– Я бы... от запеченных в гречневой каше не отказался, – сглатывая слюну, как можно спокойнее уточнил Дмитрий.

– Понятно, судари, мумент. – Хозяин щелкнул пальцами, и еще один половой с белым рушником через плечо живо заскользил между столов.

– Что ж, то все ясно, Максим Михалыч, закуска чин по чину. А все же чем покормишь?

– Оно, конечно, назаровские, говяжьи, из вырезки, щи, супчики, как положено, на мозговых костях... Опять же саратовскую селяночку, для здорового сна желудка... сие первое благо, не откажите, хоть с осетриной, хоть со стерлядкой, и та, и та во рту тает... На второе советую рубец, покрашенный гусиной печенкой, а можно котлеты а-ля жардиньер.

– Резонно. Уговорил. Значит, так: всем назаровских щей, зайчатины по-чугински, да проследи, Михалыч, чтоб корочку маслом смочили, чтобы «хрумстела», шельма, с поджаркой, и лука купнее маринованного.

– Прикажете зеленцой все украсить? Спаржа что масло.

– Довольно, голубчик, слюной исходим. Остальное мелочь, все на твой вкус. Сделаешь, не заспишь?

⁴⁷ К вашим услугам... пармская фиалка (*фр.*).

– Господь с тобой, Андрей Петрович, пошто забижаешь? Сколь лет, жили-были, на потребу людям служу!

Алешка уже изнывал под пыткой обещанных яств, когда два половых поднесли сияющие медью подносы, освободив «из плена» Корнеева.

– Браво, корнет! По-нашему! По-павлоградски! – грянуло из-за стола. Послышался дружный звон сшибаемых бокалов, а потом вдруг ухо обласкал перебор струн, и полилось гусарское, вечное:

Ради Бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами!
Всех наездников сзывай
С закрученными усами!⁴⁸

Перед братьями на столе, как по волшебству, объявилась запотевшая во льду анисовая водка, аглицкая горькая и портвейн за номером пятьдесят рядом с двумя бутылками шампанского. Тут же была порционно подана копченая грудинка, нарезанная тонкими, в карточную толщину, ломтиками. В центре на большом блюде искрились маслины, поджаристые хлебцы с кустиками зелени, серебряный жбан с зернистой икрой и еще множество всякой всячины, название которой Алексей и не знал, от которой разбегались глаза и нервно подрагивали пальцы.

Настроение сделалось преотличным. «Вот так богатство! В жизни не пробовал ничего подобного!» – Алешка насилу удерживал себя, чтобы не глотать, как утка, а есть достойно, с чувством и расстановкой, нет-нет да и поглядывая на Митю, на лице которого было написано истинное блаженство. Подцепив вилкой семги, украшенной угольниками лимона, он отправлял ее в рот, закусывал розовым расстегаем и при этом, закрыв глаза, сосредоточенно пережевывая, покачивал от наслаждения головой.

– Извольте селедочки под водку, так, для «осадки», чтобы не пучило, – с напором рекомендовал Грэй и тут же подливал приятелям.

⁴⁸ Давыдов Д.В. Гусарский пир.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.